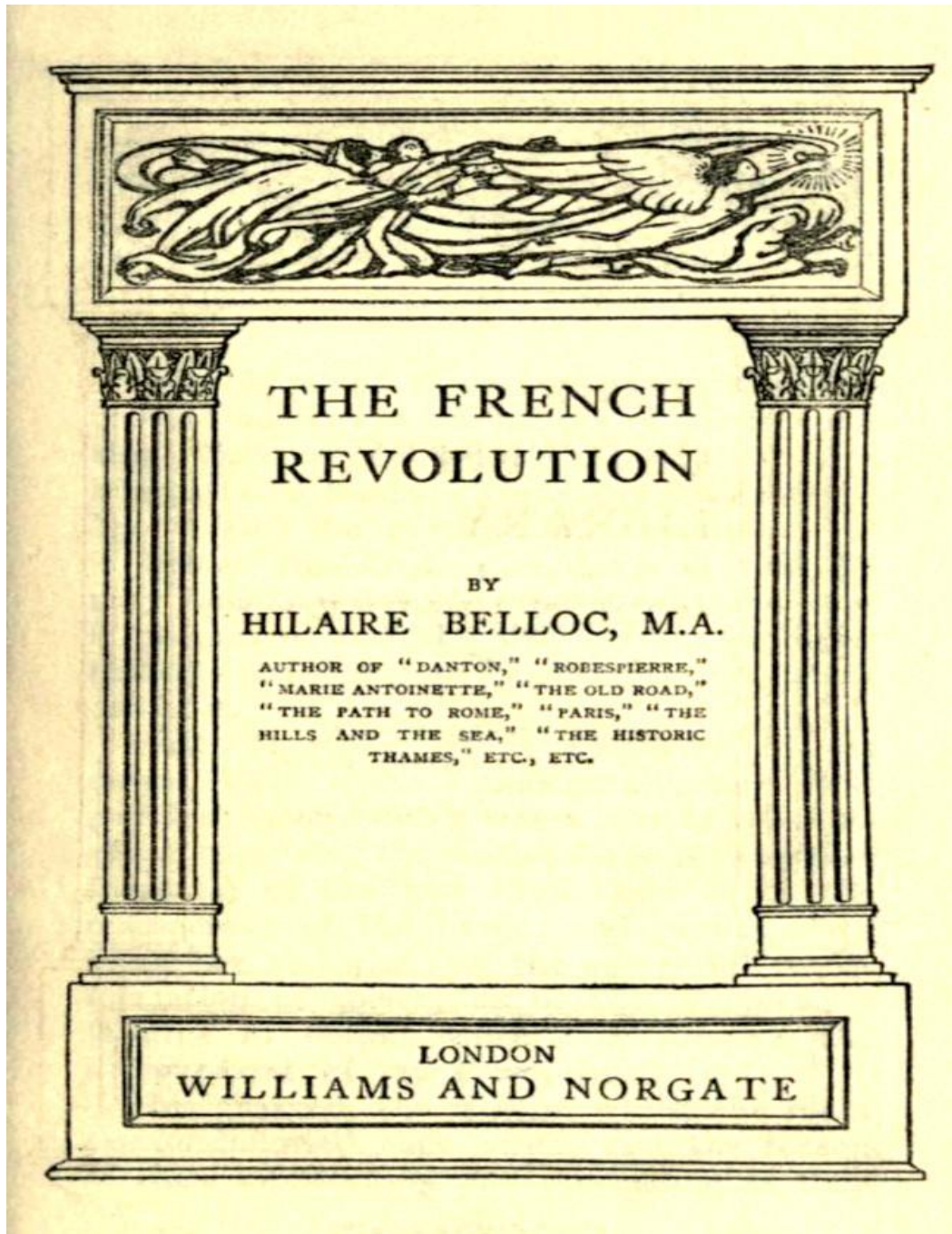


Французская революция

Хилэр Беллок



Содержание

[ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ](#)

[ПРЕДИСЛОВИЕ](#)

[СОДЕРЖАНИЕ](#)

[ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ](#)

[I ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ](#)

[СНОСКИ:](#)

[II РУССО](#)

[III ПЕРСОНАЖИ РЕВОЛЮЦИИ](#)

[КОРОЛЬ ЛУИ XVI](#)

[КОРОЛЕВА](#)

[МИРАБО](#)

[ЛАФАЙЕТ](#)

[ДЮМУРИЕ](#)

[ДАНТОН](#)

[КАРНО](#)

[МАРАТ](#)

[РОБСПЬЕР](#)

[СНОСКИ:](#)

[IV ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ](#)

[I С мая 1789 года по 17 июля 1789 года.](#)

[II С 17 июля 1789 года по 6 октября 1789 года.](#)

[III С октября 1789 года по июнь 1791 года.](#)

[IV С июня 1791 года по сентябрь 1792 года.](#)

[V С момента вторжения в сентябре 1792 года до создания Комитета общественной безопасности в апреле 1793 года.](#)

[VI С апреля 1793 года по июль 1794 года.](#)

СНОСКИ:

V ВОЕННЫЙ АСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ

ОДИН

ДВА

ТРИ

ЧЕТЫРЕ

ПЯТЬ

СНОСКИ:

VI РЕВОЛЮЦИЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

СНОСКИ:

УКАЗАТЕЛЬ

ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ

Электронная книга Проекта Гутенберга «Французская революция»

Эта электронная книга предназначена для бесплатного использования в любой точке США и большинства других стран мира практически без каких-либо ограничений. Вы можете копировать, передавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями лицензии проекта «Гутенберг», прилагаемой к этой электронной книге или доступной онлайн по [адресу www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы не проживаете в США, перед использованием этой электронной книги вам необходимо ознакомиться с законодательством страны, в которой вы проживаете.

Название: Французская революция

Автор: Хилэр Беллок

Дата выпуска: 8 февраля 2011 г. [электронная книга № 35215]
Последнее обновление: 25 марта 2022 г.

Язык: английский

Благодарности: Стивен Гиббс, Ричард Дж. Шиффер и команда онлайн-корректоров
<http://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ***

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

АВТОР: ИЛЕР БЕЛЛОК, М.А.

АВТОРА КНИГ «ДАНТОН», «РОБСПЬЕР», «МАРИ АНТУАНЕТТА», «СТАРАЯ ДОРОГА», «ПУТЬ В РОМ»,
«ПАРИЖ», «ХОЛМЫ И МОРЕ», «ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМЗА» И Т. Д.

ЛОНДОН
УИЛЬЯМС И НОРГЕЙТ

Ричард Клэй и сыновья, Лимитед,
БРАНСВИК-СТРИТ, СТЭМФОРД-СТРИТ, ЮГО-ВОСТОК,
И БАНГЕЙ, САФФОЛК.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этих нескольких страниц не в том, чтобы в очередной раз пересказать историю Революции: с ней можно ознакомиться в любом из сотен учебников. Их цель скорее в том, чтобы, если это возможно, дать английскому читателю объяснение, чтобы он мог понять, что это было, как это происходило, а также почему из этого возникли определенные проблемы, до сих пор незнакомые англичанам.

Поэтому в первую очередь необходимо четко изложить, без современных добавок, ту политическую теорию, которая была своего рода религиозным вероучением и служила движущей силой всего дела: нового Гражданского кодекса, массовых убийств, паники и капитуляций, побед, успешной трансформации общества и заметных провалов в деталях, которые до сих пор угрожают достижениям Революции.

Поняв это, необходимо изложить последовательность основных событий и причины их взаимосвязи и развития — повторяю, не в форме хроники, а в форме тезиса. Таким образом, читатель должен знать не только то, что за провалом бегства королевской семьи последовала война, но и то, как и почему за этим последовала война. Он должен не только оценить суровость правления Великого комитета, но и понять, почему эта суровость имела место, а также условия войны, на которых она основывалась. Но при таком объяснении развития движения необходимо выбрать для оценки в качестве главных фигур персонажей того времени, поскольку от их воли и поведения зависела судьба всего. Например, если бы королева была француженкой по крови или по симпатиям, если бы король был бдительным, если бы кто-либо из персонажей сохранил старые религиозные мотивы, вся история изменилась бы, и эту группу людей необходимо рассматривать, чтобы понять их действия и драму.

Читатель, заинтересованный этим важным событием, должен также уделить внимание (но редко имеет возможность это сделать) его военному аспекту; и эта трудность объясняется двумя причинами: во-первых, историки, даже когда они признают важность военной стороны какого-либо прошлого движения, не уделяют должного внимания военному аспекту и считают достаточным описать отдельные победы и общие действия. Военный аспект любого периода заключается не в этом, а в кампаниях, действия которых, какими бы решающими они ни были, являются лишь второстепенными частями. Другими словами, читатель должен уловить движение и замысел армий, если он хочет понять военный период, а это обычно ему не дается. Во-вторых, историк, как бы он ни осознавал важность военных дел, слишком редко представляет их как часть общей картины. Он превращает свою историю в историю войны или, наоборот, в историю гражданского развития, и читатель не может понять, как эти две вещи сочетаются.

Теперь же революция, более чем любой другой современный период, зависит от своей военной истории и объясняется ею. По этой причине столь значительное место было уделено объяснению этой особенности.

Читатель снова заметит, что конфликт между революцией и католической церковью также был подробно рассмотрен.

Подчеркивание этого аспекта революционной борьбы может показаться необычным и, возможно, заслуживает извинений.

Читателю предлагается принять во внимание тот факт, что революция произошла в стране, которая, во-первых, в ходе религиозной борьбы XVI и XVII веков окончательно определила остаться в общении с Римом, а во-вторых, приняла очень большую и важную группу обращенных в доктрины Реформации.

Решимость французского народа в кризисе 1572-1610 годов остаться католиками под сильным центральным правительством была важнейшим моментом в будущей истории Франции. Так же как и наличие богатой, очень многочисленной и высокообразованной группы несогласных в середине нации. Эти два явления вряд ли сосуществовали где-либо еще в Европе. Вместе они придали политической истории Франции особый характер, который XIX век, даже больше, чем сама революция, подчеркнул; и автор настоящей статьи считает, что невозможно понять революцию, если не уделить особого внимания религиозной проблеме.

Если можно высказать личное мнение, то читателю не следует скрывать тот факт, что автор этих страниц сам является католиком и в политическом плане сильно привязан к политической теории революции. Такие личные обстоятельства, возможно, позволили ему рассмотреть этот вопрос более тщательно, чем это мог бы сделать тот, кто отвергает либо республиканизм, либо католицизм; но он считает, что никакие личные и, следовательно, преувеличенные нотки не повлияли на его описание того, что является определенным объективным историческим фактом, основанным на документах, а не на мнениях.

Несколько лет назад первостепенное значение конфликта между Церковью и Революцией еще могло быть поставлено под сомнение людьми, не имевшими личного опыта этой борьбы и ее огромных результатов. Сегодня растущие последствия и современная острота этого конфликта делают его представление неотъемлемой частью любого исследования этого периода.

Изложенная выше схема покажет, почему я разделил этот очерк на части.

Х. БЕЛЛОК.

King's
январь 1911 г.

Land,

СОДЕРЖАНИЕ

	СТРАНИЦА
ПРЕДИСЛОВИЕ	<u>v</u>
I ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ	<u>13</u>
II РУССО	<u>29</u>
III ПЕРСОНАЖИ РЕВОЛЮЦИИ:	
Король Людовик XVI	<u>37</u>
Королева	<u>45</u>
Мирабо	<u>53</u>
Лафайет	<u>61</u>
Дюмурье	<u>65</u>
Дантон	<u>67</u>
Карно	<u>72</u>
Марат	<u>74</u>
Робеспьер	<u>77</u>
IV ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ:	
i. С мая 1789 года по 17 июля 1789 года	<u>83</u>
ii. С 17 июля 1789 года по 6 октября 1789 года	<u>98</u>
iii. С октября 1789 года по июнь 1791 года	<u>102</u>
iv. С июня 1791 года по сентябрь 1792 года	<u>108</u>
v. С момента вторжения в сентябре 1792 года до создания Комитета общественной безопасности в апреле 1793 года	<u>118</u>
vi. С апреля 1793 года по июль 1794 года	<u>126</u>
V ВОЕННЫЙ АСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ	<u>142</u>
Один	<u>145</u>
Два	<u>156</u>
Три	<u>163</u>
Четыре	<u>179</u>
Пять	<u>204</u>
VI РЕВОЛЮЦИЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ	<u>214</u>

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Политическая теория, на которой основывалась революция, особенно в этой стране, подвергалась насмешкам как локальная, эфемерная и ложная. Она универсальна, вечна и истинна.

Ее можно кратко сформулировать так: политическое сообщество, претендующее на суверенитет, то есть на моральное право защищать свое существование от всех других сообществ, черпает гражданскую и временную власть своих законов не из своих фактических правителей и даже не из своей магистратуры, а из самого себя.

Но сообщество не может выражать власть, если оно не обладает *корпоративной инициативой*, то есть если масса составляющих его единиц не способна объединиться для общего выражения, не осознает общей воли и не имеет чего-то общего, что делает все сообщество действительно суверенным.

Возможно, что эта способность к коллективной инициативе и соответствующему коллективному выражению запрещена людям. В таком случае нельзя говорить о существовании такого явления, как суверенное сообщество. В таком случае «патриотизм», «общественное мнение», «гений народа» — термины, лишенные смысла. Но человечество во все времена и во всех местах соглашалось с тем, что такие термины имеют смысл, и представление о том, что сообщество может так жить, упорядочивать и быть собой, является человеческим представлением, столь же созвучным природе человека, как и его чувство права и неправа; она гораздо более тесно связана с этой природой, чем обычные случайности, определяющие человеческую жизнь, такие как питание, размножение или отдых: нет, она более тесно связана с ней, чем что-либо, что привязано к телу.

Эта теория политической морали, хотя и подвержена безграничному развращению на практике, лежит в основе аргументации каждого человека, который претендует на то, чтобы

рассматривать поведение государства как дело, затрагивающее совесть граждан. На ней основано каждое протестное выступление против тирании и каждое осуждение иностранной агрессии.

Тот, кто больше всего увлечен какой-либо установленной системой управления людьми и кто считает сакраментальную функцию наследственного монарха (как в России), органический характер коренной олигархии (как в Англии), механическую организацию выборов большинством голосов или даже в кризисной ситуации — сильную убежденность и, следовательно, интенсивную деятельность и решающую силу больших масс как благотворные для государства, будет неизменно, если какой-либо из этих механизмов не поможет ему достичь того, чего он желает для своей страны, возвращаться к доктрине о высшей суверенной общине. Он будет жаловаться, что, хотя выборы разрушили его идеал, истинная национальная традиция и истинные национальные чувства были на его стороне. Если он защищает действия местной олигархии против лидеров народа, он делает это, объясняя (более или менее явно), что олигархия является более истинной национальной, то есть более истинной общинной, чем искусственно сфабрикованное выражение мнения, рупором которого являются демагоги (как он их называет). Даже обвиняя людей в критике или сдерживании наследственного монарха, сторонник этого монарха будет обвинять их на том основании, что их действия антинациональны, то есть антиобщинны; и, одним словом, ни один человек, претендующий на здравомыслие, не может оспаривать в мирских и гражданских вопросах высшую власть того, что считается (хотя с каким трудом это определено!) общим гражданским чувством, которое создает государство.

Слова «гражданский» и «светский» должны привести читателя к следующему соображению, а именно, что высшая власть не принадлежит даже сообществу.

Все, кто задумывался о своей природе и природе своих ближних, должны признать, что высшая власть в любом действии принадлежит Богу. Или, если имя Бога звучит необычно в современной английской публикации, то что теперь заменяет его для многих (несовершенное выражение) — «нравственное чувство».

Таким образом, если в каком-то заброшенном месте соберутся несколько семей, настолько развращенных или нуждающихся, что, вопреки учениям своей совести и хорошо зная, что то, что они делают, мы называем *неправильным*, они все же единодушно согласятся это сделать, то их согласие, хотя против него, конечно, нельзя привести никакой временной или гражданской власти, все же является неоправданным. За этим стоит другая власть. Еще более очевидно это будет, если, скажем, из двенадцати человек семь (зная, что это неправильно) решили, что неправильное должно быть сделано, пять выступили за правильное — и все же большинство, которым обладают семь, должно быть признано достаточной властью для неправильного приказа.

Но следует отметить, что эта аксиома применима только в том случае, когда авторитет морального закона (Бог, как автор этой книги, с должным уважением к своим читателям, предпочел бы сказать) признается, но при этом игнорируется. Если эти двенадцать семей искренне верят, что такое-то и такое-то общее действие является правильным, то их авторитет, когда они приводят его в исполнение, является не только гражданским и временным авторитетом; но и абсолютным во всех отношениях; и далее, если при разделении мнений между ними, возможно, не просто большинством, а, возможно, и вовсе не большинством, но в любом случае определяющим течением мнений — определяющим по интенсивности и весу, то есть, а также по количеству — объявляет действие правильным, то

этот определяющий вес мнения придает его решению политический авторитет не только гражданский и временный, но и абсолютный. Выше и выше него нет никакой апелляции.

Другими словами, люди могут справедливо осуждать, и справедливо осуждали в тысяче случаев, теорию, что простое решение большинства членов сообщества было обязательно правильным с моральной точки зрения. В этом отношении само собой разумеется, что если одно сообщество принимает одно решение, а другое, также суверенное, — противоположное, то оба они не могут быть правы. Разумные люди также справедливо протестовали против концепции, согласно которой то, что может быть предписано большинством голосов или даже (что еще более убедительно) единогласным решением сообщества, может быть не только неправильным, но и тем, что это сообщество не имеет права предписывать, поскольку, хотя оно и обладает гражданской и временной властью, оно действует вопреки той высшей власти, которой является его собственное сознание права. Люди могут и справедливо протестуют против доктрины, согласно которой сообщество неспособно совершать преднамеренное зло; оно способно на такое действие так же, как и отдельный человек. Но люди нигде не отрицают и не могут отрицать, что общее сообщество (), действующее так, как оно считает правильным, в конечном счете является суверенным: нет альтернативы такой очевидной истине.

Следовательно, давайте примем как несомненное, что в том, что касается гражданского правительства, сообщество является верховным, хотя бы исходя из того аргумента, что ни один орган внутри сообщества не может доказать свое право противостоять коллективной воле, когда эта коллективная воля однажды найдет свое выражение.

Все аргументы, выдвигаемые против этой основной аксиомы политической этики, при анализе оказываются основанными на путанице мыслей. Так, человек скажет: «Эта доктрина приведет мою страну к отказу от своей верховной власти над другой нацией, но если я соглашусь с этим, я ослаблю свою страну, которой я обязан верностью». Доктрина не вынуждает его к такой путанице. Сообщество, членом которого он является, свободно принимать решения в целях безопасности и обязано сохранять свою жизнь. Протестовать и восставать — дело угнетенных.

Точно так же мужчины считают, что эта доктрина в некотором роде противоречит фактической апатичности и фактической несостоятельности мужчин в их коллективных действиях. Но это не так. Эта апатичность, эта несостоятельность и все другие факторы, ограничивающие применение доктрины, никоим образом не затрагивают ее правильную суть, так же как тот факт, что речь всех людей несовершенна, не противоречит принципу, согласно которому человек имеет моральное право на самовыражение. То, что немой человек не может говорить вообще, а должен писать, далеко не противоречит, а доказывает истину, что речь является основным средством самовыражения человека; и точно так же сообщество, совершенно лишенное возможности выражать свою коллективную волю, не является противоречием, а доказательством общего правила, что такое выражение и навязывание таких решений являются нормальными для человечества. Сама странность контраста между ненормальным и нормальным помогает нам в нашем решении, и когда мы видим народ, покоренный, а не убежденный, но не делающий попыток восстания, или народ, свободный от иностранного гнета, но озадаченный перспективой самоуправления, странность этого явления подтверждает наше правило.

Но хотя все это и верно, против нашего политического аксиома выступает не дополнительное противоречие, а критика; и все люди, имеющие некоторое представление о

своих собратьях и о себе самих, сразу же замечают, *во-первых*, что психология коллективных действий существенно отличается от психологии индивидуальных действий, и, *во-вторых*, что пропорционально количеству, обсуждениям, отсутствию близости и, в целом, трениям между многими, коллективные действия сообщества, коллективная самореализация и навязывание коллективной воли варьируются от сложных до невозможных.

На этом не нужно тратить слова. Все люди, которые размышляют и наблюдают, согласны с тем, что в зависимости от расстояния, количества и сложности, трудность самовыражения в сообществе увеличивается. Мы можем получить в живом народе взрывы народной воли, насильственные, острые и, безусловно, реальные, но редкие. Мы можем попытаться с более вялым народом получить некоторое отражение народной воли через постоянный механизм делегирования, который, пожалуй, меньше всего позволяет большому сообществу выразить себя по-настоящему. Мы можем полагаться на национальные симпатии аристократии или короля. Но в любом случае мы знаем, что большие сообщества могут выражать себя только косвенно и несовершенно, когда речь идет о постоянном управлении всеми их интересами. Нашу привязанность, которая может быть страстной, к правам общей воли мы должны удовлетворить либо путем требования создания свободной федерации небольших самоуправляемых государств, либо путем подчинения центрального правительства крупных государств периодическим восстаниям и насильственным корпоративным выражениям мнения, которые должны перестроить отношения между правителями и управляемыми.

Все это верно: но такая критика теории политической морали, лежащей в основе Революции, теории о суверенитете общины, не является противоречием. Она лишь говорит нам, что чистое право не может действовать беспрепятственно в человеческих делах и что в некоторых условиях оно действует с большим трудом, чем в других: она не дает ни капли авторитета какой-либо альтернативной тезисе.^[1]

Такова общая теория Революции, которой владение французским языком Жан-Жака Руссо придало бессмертное выражение в той книге, стиль и логическая связь которой можно сравнить с каким-то точным и прочным инженерным сооружением. Он назвал ее «*Общественный договор*», и она стала формулой революционного вероучения. Но хотя, пожалуй, никто не выразил так хорошо основную истину политической морали, эта истина была старая, как мир; она появляется в страстной риторике сотен лидеров и стояла во главе или была вплетена в законы бесчисленных свободных государств. В английском языке Декларация независимости, пожалуй, является ее самым благородным выражением. И хотя этот документ появился после великого труда Руссо и (благодаря гению Джефферсона) в некоторой степени был его продолжением, его язык и, более того, действия тех, кто его разработал и поддержал, достаточны, чтобы объяснить английским читателям, что я имею в виду.

С этой общей теорией связаны, с одной стороны, определенные великие принципы, без которых она не имела бы смысла, а с другой — ряд второстепенных моментов, касающихся лишь механизмов политики. Первые имеют жизненно важное значение для демократии. Вторые, несмотря на их большую популярность во время революции и санкцию, которую им дала революция, да, даже на их универсальность после революции, на самом деле не имеют ничего общего с самой революционной теорией.

Из этих двух категорий тип первой — это доктрина равенства людей; тип второй — это просто механизм, называемый «представительным».

Доктрина равенства людей — это трансцендентная доктрина: «догма», как мы называем такие доктрины в области трансцендентальной религии. Она не соответствует никакой физической реальности, которую мы можем понять, ее трудно даже обрисовать с помощью метафор, взятых из физических объектов. Мы можем попытаться рационализировать ее, сказав, что то, что общее для всех людей, не *более* важно, но *бесконечно* важнее, чем случайности, по которым люди различаются. Мы можем сравнить человеческие качества с трехмерными, а личные качества — с двухмерными измерениями; мы можем сказать, что все, что есть в природе человека, является стандартом человека, и мы можем показать, что во всех таких вещах люди потенциально равны. Ни одна из этих метафор не объясняет суть вопроса; тем более ни одна из них не удовлетворяет требованиям тех, для кого этот догмат может быть непонятен.

К ее истине нужно прийти (для этих людей) отрицательным путем. Если люди *не* равны, то никакая система юриспруденции, никакой акт справедливости, никакое движение человеческого возмущения, никакое возвышение братства не имеют никакого смысла. Доктрина равенства людей, как и многие великие трансцендентальные доктрины, может быть доказана результатами, следующими из ее отсутствия. Человеку свойственно верить в нее — и все живые общества верят в нее.

Конечно, человеку не свойственно доказывать равенство людей, за исключением, как я уже сказал, отрицания; но не требуется значительных интеллектуальных способностей, чтобы понять, что без доктрины равенства исчезают концепции политической свободы и морального права сообщества на самоуправление. Теперь верить в эту доктрину положительно и верить в нее горячо, вести крестовый поход за эту религиозную точку зрения, было действительно характерно для французов. Требовалось особое и унаследованное религиозное настроение французов, которое на протяжении многих сотен лет захватывало и определяло точку за точкой в характере человека, чтобы влюбиться в это определение и чувствовать его не интеллектом, а как бы в костях. Они стали солдатами за это, и их огромный поход по Европе, который можно сравнить с их приключениями в XII веке, когда они участвовали в крестовых походах, был вдохновлен ничем иным, как доктриной равенства.

Презрение, которое в те дни всеобщее испытывало к гордости, связанной с вещами, не присущими человеку (в частности, и что наиболее абсурдно, с капризными различиями в богатстве), никогда не было столь сильным; и страстное чувство справедливости, проистекающее из этого глубокого и фундаментального социального догмата равенства, которое во время Революции привело Францию в состояние безумия, также привело ее к творчеству.

Те, кто спрашивают, как группа людей, несущих на себе всю тяжесть гражданского конфликта внутри страны и всеобщей войны снаружи, за двадцать лет нашла время для разработки кодексов, регулирующих современную Европу, для заложения основ всеобщего образования, строго безличной системы управления, и даже для детальной перестройки материальной стороны общества — одним словом, для создания современной Европы — должны довольствоваться ответом, что источником энергии и вдохновения республиканцев было почти физическое ощущение равенства людей.

Второстепенные моменты, которые вплелись в политическую практику демократии во время Революции, не являются ее принципами и, если бы их абстрагировать, не повлияли

бы на ее сущность, носят совершенно иной, менее благородный характер. Я выбрал в качестве главного из них механизм делегирования или «представительства».

Представительная система была разработана для конкретной цели под влиянием Церкви и особенно монашеских орденов (которые ее изобрели) в средние века. Она практиковалась как полезный механизм контроля над национальной монархией во Франции и как полезная форма выражения национальных интересов в периоды кризиса или когда особенно требовалась национальная инициатива.

В Испании по мере развития средневековья она стала очень важным национальным и местным явлением, варьирующимся от места к месту. Неудивительно, что Испания (учитывая, что на ее территории были проведены первые эксперименты по представительству) сохранила ее таким образом, популярной и живой.

В Англии представительство, столь же активное, как и везде в средневековье, к концу этого периода сузилось и пришло в упадок, пока в XVII веке не превратилось в простую схему аристократического правления.

Во Франции за почти двести лет до Революции оно вышло из употребления, но о нем сохранились живые воспоминания, особенно о его значении в критические моменты, когда требовалось совещание всего народа и когда для спасения государства необходимо было задействовать коллективную инициативу всего народа.

Поэтому неудивительно, что французы накануне революции требовали возрождения представительства или, как эта система называлась на французском языке, «Генеральных штатов». Но как постоянный механизм управления никто в Европе не имел ни малейшего представления о том, как эта система могла бы служить целям демократии. В Англии демократия не практиковалась, и представительство не было связано с ее концепцией. Нация забыла о демократии так же полностью, как забыла о религии и старых идеалах средневековья.

В тех частях христианского мира, где древняя христианская институция парламента не превратилась в маску олигархии или не сократилась до простого провинциального обычая, ее использование исчезло. Древняя функция представительства, когда оно было наиболее активным и энергичным, то есть в средневековье, заключалась в том, чтобы время от времени инициировать национальную политику в критические моменты, но в целом — в утверждении налогов. Что мог бы сделать демократический парламент, в 1789 году никто не мог себе представить.

Действительно, существовал один великий пример демократического представительства: пример Соединенных Штатов (), но условия там были совершенно иными, чем в Европе. Там еще не существовало настоящей центральной власти, не было древних центральных институтов, короны или городских обычаев. Число людей, над которыми тогда властвовала американская представительная демократия, не шло ни в какое сравнение с двадцатью пятью миллионами жителей Франции. И даже в этом случае большая часть их жизни регулировалась системой высокой местной автономии: они были так же разбросаны, как и малочисленны, а самые мудрые, сильные и лучшие из них зависели от рабов. В Европе, повторяю, этот эксперимент не был опробован; и одной из главных ошибок французских революционеров было то, что, будучи вынужденными в критический момент начала революции прибегнуть к выборам и представительству, они рассматривали постоянное

использование подобного механизма как нечто священное и нормальное для демократического государства.

Конечно, они не могли предвидеть современный парламентаризм. Ничто не могло быть более чуждо их представлениям о государстве, чем прискорбный метод правления, который парламентаризм повсеместно стремится ввести сегодня.

Правда, французский народ во время революционных войн быстро расправился с парламентской теорией и считал более национальным делом следовать за солдатом (будучи к тому времени все сами солдатами) и воплощать волю нации в диктаторе.

Но хотя французские революционеры не могли предвидеть то, что мы сегодня называем «парламентаризмом», и хотя общество, из которого они вышли, быстро расправилось с олигархическими притязаниями парламента, когда пришлось учитывать реалии национальной борьбы, они на самом деле относились с почти абсурдным почтением к механизму представительства и выборов.

Они зашли так далеко, что ввели его в свою попытку реформирования церкви; они ввели его повсюду в гражданское управление, от самых мелких единиц до самых высоких. Они даже на мгновение поиграли с иллюзией в той самой реальной из игр, в которую люди когда-либо могут играть — в военном деле: они разрешили выборы офицеров. Их подтолкнула к этому та распространенная ошибка, более простительная для них, чем для нас, которая смешивает индивидуальную волю с корпоративной. Представитель (как они думали) мог бы в некотором роде быть постоянным представителем своего электората. Они воображали, что корпоративная инициатива всегда достаточно активна, независимо от разделений и подразделений, чтобы немедленно реагировать на делегата, направлять его, как направляют погоняемое животное, или командовать им, как командуют слугой.

Напрасно Руссо, великий представитель демократической теории, на которой Франция пыталась основываться, предупреждал потомков о возможных результатах представительной системы: они впали в заблуждение, и оно владеет многими из их потомков по сей день.

Проницательный ум Руссо действительно не более чем общую истину, что люди, согласные на представительную систему, свободны только до тех пор, пока представители не заседают. Но (как это часто бывает с интуицией гения) хотя он и не видел всего зла, он указал на его центральную точку, и из этого главного и справедливого принципа, который он сформулировал — что в чисто представительной системе люди не могут быть по-настоящему свободными — вытекают все те злы, которые, как мы теперь знаем, связаны с этим методом правления. То, что в довольно неуклюжем эпиграфе названо «дерзостью избранных лиц», является частью этой истины. Очевидное зрелище современных парламентских наций, против своей воли втянутых в экономические условия, которые их ужасают, снова проистекает из той же истины; от нее же происходит и то явное и искреннее презрение, в которое повсеместно впали парламентские институты, и от нее же происходит и та дальнейшая производная беда, что сами представители повсеместно стали более раболепными, чем избиратели, и что во всех парламентских странах несколько интриганов являются недостойными хранителями власти и своим служением финансам позволяют денежным магнатам управлять всеми нами сегодня. Руссо, главный пророк Революции, предупреждал французов об этой опасности. Это яркий пример его таланта, ведь в его время эксперимент с демократическим представительством еще не был опробован. Но гораздо

более значима его сила, благодаря которой он не только чеканил и выпускал золото демократии, как никогда раньше, Ни один человек не создает народ или его вероучение, но Руссо больше, чем кто-либо другой, озвучил вероучение народа, и читателю, изучающему Революцию, целесообразно или необходимо с самого начала своего чтения подумать о том, каким было обильное влияние Руссо на людей, которые перестроили общество Европы между 1789 и 1794 годами.

Почему он доминировал в те пять лет и как ему удалось усилить свое влияние?

Объяснение влияния Руссо заслуживает отдельного отступления, поскольку немногие из тех, кто выражает свои мысли на английском языке, заботились о том, чтобы понять его, а в академиях провинциалы довольствовались тем, что относились к этому великому писателю, как к человеку, в чем-то уступающему им самим.

СНОСКИ:

[1] Не стоит тратить время на тех, кто говорит, что та или иная форма правления хороша, потому что «она работает». Использование таких выражений означает, что говорящий устал от умственных усилий. Ведь что такое «работает», *то есть* успешное действие, в любой сфере? Достижение определенных целей в этой сфере. Каковы эти цели в государстве? Если это материальное благосостояние, то тогда можно прекратить разговоры о патриотизме, нации, общественном мнении и прочем, что, как мы все хорошо знаем, люди всегда считали и всегда будут считать высшими вопросами общественного интереса. Если цель не материальное благосостояние, а чувство политической свободы и возможности гражданина влиять на государство, то сказать, что институт «работает», хотя и не является демократическим, означает просто сказать, что в таких-то и таких-то условиях этот институт наиболее близко достигает целей демократии. Другими словами, противопоставлять хорошую «работу» института, внешне недемократического, демократической теории бессмысленно. Институт «работает» в той мере, в какой он удовлетворяет то политическое чувство, которое идеальная демократия, если бы она была достижима, удовлетворяла бы полностью.

II

РУССО

Чтобы понять, что Руссо значил для революционного движения, необходимо учитывать влияние стиля на людей.

Люди подвержены влиянию слов. Устные или письменные, *слова* являются органом убеждения и, следовательно, морального управления.

Сейчас, когда этот термин утратил свое значение в наше время, нет подходящего термина, чтобы выразить точное использование слов, кроме термина «стиль».

Какие слова мы используем и в каком порядке мы их располагаем — вот в чем заключается весь смысл стиля; и человек, желающий повлиять на своих собратьев, имеет в своем распоряжении не один, а два взаимосвязанных инструмента. Он не может использовать

один без другого. Слабость одного разрушит другой. Эти два инструмента — его идея и его стиль.

Какой бы мощной, естественной, сочувствующей настроению слушателей или убедительно доказуемой с помощью новых фактов ни была идея человека, он не сможет убедить в ней своих соотечественников, если не найдет слов, чтобы ее выразить. И он будет убеждать их все больше и больше по мере того, как его слова будут хорошо подобраны и расположены в правильном порядке, который определяется гением языка, из которого они взяты.

Правдива ли или ложна идея, которую Руссо выдвинул в своем знаменитом трактате, нас в этой маленькой книге не интересует. Мы все знаем, что сложная попытка реализовать политическую свободу привлекала различные сообщества людей в разное время и отталкивала другие. Английские читатели редко слышат о том, что триумф Руссо зависел не только от первого элемента убеждения, которым является видение, но и от второго из двух взаимосвязанных инструментов, с помощью которых человек может влиять на своих собратьев, а именно от стиля. Именно его выбор французских слов и порядок, в котором он их располагал, дали ему огромное превосходство над поколением, которое было молодым, когда он был стар.

Я упомянул его знаменитый трактат *«Общественный договор»*, и здесь можно привести второй момент, касающийся этого произведения. Эта книга, которая дала текст для Революции, документ, на который могла ссылаться ее политическая теория, ни в коем случае не была (как иногда полагали иностранные наблюдатели) всем сочинением, за которое отвечал Руссо. Представлять себе это — значит совершать очень распространенную ошибку, путая человека с его книгами.

Руссо писал о многом: его характер был возвышенным, нервным и болезненным. С возрастом его чрезмерная чувствительность дегенерировала в нечто, неотличимое от мании. Он писал об образовании, и великолепие его стиля убеждало как в тех случаях, когда он был прав, так и в тех, когда столетний опыт доказал, что он был полностью неправ. Он писал о любви, и половина уроков, которые можно извлечь из его произведений, будет осуждена здравомыслящими людьми. Он писал о ботанике в обширных подробностях; он писал также о музыке — с каким успехом в той или иной области, я не в состоянии определить. Он писал о человеческом неравенстве: и хотя предложения были красивыми, а чувства справедливыми, анализ был очень недостаточным, а историческая концепция плохой. Он писал о проекте вечного мира, который был чепухой; и он писал о правительстве Польши эссе, которое было совершенным шедевром.

Но когда великий писатель пишет, каждое из его великих произведений имеет свою собственную жизнь, и именно *«Общественный договор»*, а не какие-либо другие сочинения Руссо о любви или ботанике, стал текстом Революции. Текстом Революции стал его *«Общественный договор»*.

Не будет преувеличением сказать, что никогда в истории политической теории политическая теория не излагалась так ясно, так убедительно, так лаконично и так точно, как в этой короткой и замечательной книге. Современный издатель в этой стране постыдился бы ее напечатать: не из-за ее взглядов (которые сейчас кажутся банальными) и не из-за ее совершенства, которое гарантировало бы ей провал, а из-за ее краткости. Она коротка, как Евангелие, и занимает всего сто страниц одного из наших серьезных журналов. Современный издатель в этом городе не знал бы, какую цену установить на такое

произведение, а современный читатель в этой стране был бы озадачен, пытаясь понять, как столь великое произведение могло быть заключено в столь узких рамках. Дебаты в парламенте или либретто длинной пантомимы имеют больший объем.

Тем не менее, если внимательно прочитать *«Общественный договор»*, то можно обнаружить, что в нем сказано все, что можно сказать о моральной основе демократии. Наше незнание исторических основ государства предполагается в самых первых строках книги. Следующим утверждением является логическое приоритет семьи над государством. Нелепый и постыдный аргумент о том, что сила является основой власти — который никогда не имел значения, за исключением необразованных или поверхностных людей — с презрением отвергается в очень простом доказательстве, которое составляет третью главу, « », и эта глава не занимает и одной страницы книги. В пятой главе начинается мощный аргумент, и логическое преимущество *человеческого объединения* перед любой конкретной формой правления является краеугольным камнем этого анализа. Именно это и дало название книге: моральный авторитет людей в сообществе проистекает из *сознательного объединения*; или, как это точно сформулировано, из «общественного договора». Вся деятельность демократии, основанная на единственном моральном авторитете в государстве, вытекает из этого первого принципа и развивается в выдающемся труде Руссо, который, гораздо больше, чем любое другое нерелигиозное произведение, повлиял на судьбу человечества.

Действительно удивительно для того, кто хорошо знаком не только с содержанием, но и с манерой изложения *«Общественного договора»*, замечать, какую критику высказывают те, кто либо не читал эту работу, либо, прочитав ее, сделал это с неполным знанием значения французских слов. Два великих контраргумента, один теоретический, другой практический, с которыми приходится сталкиваться демократии, ярко освещены на этих страницах, хотя в столь кратком трактате автор мог бы и не рассматривать их. Теоретический аргумент против демократии, конечно, заключается в том, что человек склонен ко злу, поэтому для его управления необходимо что-то внешнее по отношению к нему и безразличное к его страстям; народ будет развращать себя, но деспот или олигархия, удовлетворив свои порочные желания, все еще имеют широкий простор, в котором они могут хорошо править, потому что они безразличны. Деспота или олигарха нельзя подкупить сверх пределов его желаний, но весь народ может в полной мере следовать своим собственным порочным желаниям, и они заражат все правительство.

Поэтому, по словам Руссо, полная демократия больше подходит ангелам, чем людям.

Что касается практического аргумента о том, что люди недостаточно осознают государство, чтобы практиковать демократию, за исключением небольших сообществ, то этот довод также признается и излагается лучше, чем кто-либо другой. Ведь в этой книге нет оправдания демократии как метода правления, а есть объяснение, почему и как демократия является правильной.

Глупое заблуждение, согласно которому представительный метод является по сути демократическим, никогда не было опровергнуто с таким презрением и так тщательно, как в нескольких словах, которыми *«Общественный договор»* навсегда отвергает его; хотя только нашему времени суждено было обнаружить на собственном горьком опыте, насколько прав был Руссо в этом конкретном осуждении.

Несмотря на те скудные рамки, в которых великий писатель окончательно определил теорию демократии, он находит место для побочных вопросов, которые нигде, кроме этой книги, не были упорядоченно рассмотрены и которые, как только о них услышишь, понимаешь, что они являются проявлением величайшей мудрости: что основополагающие законы, или первоначальные и особые узы новой демократии, должны исходить из источника, внешнего по отношению к ней самой (); что, независимо от того, насколько демократична форма государства, мы должны приводить детали закона в соответствие с природой народа, для которого мы принимаем законы; что демократия не может существовать без «трибунов»; что в государстве не может быть абсолютно негибких законов — и отсюда необходимость диктатуры в исключительных случаях; что ни один свод законов не может предвидеть будущие детали — и так далее.

Было бы законной и занимательной задачей бросить вызов любому человеку, который не читал *«Общественный договор»* (а это включает в себя большинство академических авторов, пишущих о трактате), бросить вызов любому такому человеку, я говорю, выдвинуть аргумент против демократической теории, который не мог быть найден на этих нескольких страницах, или предложить ограничение, которое Руссо не затронул.

Если бы потребовалось доказательство особых достоинств этой брошюры, то достаточно было бы указать, что в то время, когда проблема, представленная религией, была наименее понятна, когда религиозная практика была на самом низком уровне, и когда смысл религии почти исчез из сознания людей, Руссо был способен написать свою заключительную главу.

То, что великое религиозное возрождение XIX века доказало недостаточность взглядов Руссо на религию в государстве, никоим образом не является удивительным, поскольку в то время, когда Руссо писал, о таком возрождении и не мечтали; удивительно то, что он так отнесся к религиозным чувствам и, прежде всего, что он понял, насколько невозможно () принять отдельные христианские догмы в качестве гражданской религии.

Еще более удивительно, что в такое время можно было найти человека, который понимал, что для единства государства необходимо наличие религии, и попытка Руссо определить тот минимум или субстрат религии, без которого единство в государстве невозможно, к сожалению, стала обычным явлением для политиков, и в особенности для английских политиков, которые пришли ему на смену. Кто бы не подумал, например, что он читает — хотя, конечно, выраженное лучше, чем мог бы выразить политик — какого-нибудь «либерального» политика в Вестминстере, если бы он наткнулся на такие фразы относительно того, чему следует учить в школах страны?

«Доктрины, преподаваемые государством, должны быть простыми, немногочисленными, выраженными точно и без объяснений или комментариев. Существование могущественного Бога, благодетельного, провидения и добра; будущая жизнь; счастье добрых и наказание злых; святость соглашений, которые связывают общество, и законов; а что касается отрицательных доктрин, то одной достаточно, и это зло нетерпимости».

Сто страниц Руссо являются прямым источником теории современного государства; их ясность и непревзойденная лаконичность, их строгий анализ, их эпиграмматические суждения и мудрость — вот источники, из которых проистекает современная демократия; то, что сейчас доказано как ошибки демократии, — это ошибки, против которых *«Общественный договор»* предупреждал людей; моральное оправдание демократии — это моральное оправдание, написанное Руссо; и если в этом одном вопросе религии он

высказался более спутанно и менее решительно, чем в остальных, то следует помнить, что в его время никто другой не понимал, какую роль играет религия в человеческих делах; ведь в его дни те немногие, кто изучал религию и соблюдал ее, не могли никак связать ее с политической природой человека, а из тех, кто имел значение в интеллектуальной жизни Европы, подавляющее большинство считало, что политические проблемы лучше решать, если религию (которую они утратили) рассматривать как нечто незначительное. Они были неправы, а Руссо в своих обобщениях о душе был недостаточен; оба были ниже уровня окончательной теории человека, но Руссо гораздо ближе подошел к пониманию, даже в этом вопросе религии, чем любой из его современников.

III

ПЕРСОНАЖИ РЕВОЛЮЦИИ

КОРОЛЬ ЛУИ XVI

Как и следовало ожидать, характер короля Людовика XVI подвергся большому искажению со стороны историков, чем любой другой из революционных деятелей; и это потому, что он сочетал свой личный характер с определенной должностью, к которой традиционно привязывались определенные точки зрения и методы действия, которые историк принимает как должное, когда речь идет о характере этого человека. Как любой, кто думает о судье с определенным авторитетом в английском суде, не может не верить, что он обладает определенными знаниями, серьезностью и т. д.; как любой, кто слышит о знаменитом солдате, не может не верить, что он обладает определенными качествами, связанными с военным делом, так и историки склонны путать личность и характер Людовика XVI с его должностью; они либо, наоборот, преувеличивают его некоролевские недостатки, либо из сочувствия преувеличивают его королевское противодействие реформам.

Студенту будет полезно избежать этой ошибки и ее источника и думать о Людовике как о человеке, который был случайно введен, почти без подготовки, в должность, которую он занимал. Другими словами, студенту будет полезно при чтении о Революции рассматривать Людовика XVI просто как человека, а его характер — как частный характер. Потому что этот последний из длинной, непрерывной линии Капетингов обладал по сути индивидуальным характером. Это был тип, который, независимо от того, какие несчастья могли бы постигнуть его обладателя, остался бы прежним. Никогда еще человек, занимавший высокий пост, не был так мало подвержен влиянию этого поста.

Люди, настолько невосприимчивые к своему окружению, обычно таковы по двум причинам: либо из-за интенсивной и яркой личной инициативы, которая может граничить с безумием, либо из-за чего-то плотного и тяжелого в их моральном оснащении, которое защищает внутренний личный темперамент от внешнего воздействия. Последнее было характерно для Людовика.

Он был очень медленным в мышлении и очень медленным в принятии решений. Его физические движения были медленными. Движения его глаз были заметно медленными. Он имел привычку засыпать от усталости в самые неподходящие моменты. Его развлекали самые простые и поверхностные вещи. Шутливые игры, иногда с оттенком эксцентричности, и очень простые, но неожиданные шутки. С одной стороны, его можно охарактеризовать как одного из тех людей, которых ни за что не удалось бы убедить в чем-либо. Те немногие вещи, которые он принимал, он принимал совершенно просто, и процесс рассуждений в устах любого, кто к нему обращался, всегда был для него слишком быстрым, чтобы он мог за ним следить. Но не следует полагать, что описанная моральная оболочка была обернута вокруг пустоты. Напротив, она заключала в себе очень четкий характер. Луи обладал рядом глубоких убеждений, которые ничто не могло поколебать. Он был глубоко убежден в существовании и ценности определенной корпоративной традиции в организме, которым он управлял: французской нации. Он был националистом. В этом он отличался от многих педантов, придворных, церковников и женщин из своего окружения, особенно от своей жены.

Кроме того, он обладал всеми элементами католической веры.

Действительно, для человека его положения в то время было необычным глубоко верить в религию, но Людовик верил. Он исповедовался, причащался, посещал мессу, выполнял свои обычные обряды — не из-за традиции, политического долга или государственной функции, к которым религиозные обряды были теперь сведены у подавляющего большинства его богатых современников, а как человек, для которого эти вещи имели личное значение. Если бы он, с точно таким же внутренним настроем, проснулся однажды утром в своей постели и обнаружил, что стал помещиком, а все его прошлое царствование было ночным сном, он бы продолжил исповедовать свою религию, как и прежде.

Это достаточно примечательный момент, поскольку помещики, дворяне, юристы и университетские профессора поколения, непосредственно предшествовавшего Революции, как правило, не имели представления о католической церкви. Для них вера была мертва, за исключением очень немногих, которые, если можно так сказать без неуважения, превратили ее в манию, и их преувеличения сами по себе были доказательством глубины упадка, в который впала галльская церковь.

Луи XVI был одержим религией: это проявлялось во многих его поступках, в его нерешительности назначить немалое число атеистов среди епископов того времени, в его настоящей агонии ответственности за Гражданскую конституцию духовенства () и в ничем ином, как в особой сдержанности и твердом ритуале, с помощью которых он готовился к трагической, внезапной и позорной смерти.

Далее следует отметить, что, хотя он был еще не в среднем возрасте и был совершенно лишен какого-либо энтузиазма, с самого начала он обладал большой смелостью. Следует признать, что это качество в нем было связано с медленными процессами мышления и действия, которые мешали ему, но не может быть объяснено ими. Ни один человек еще не стал храбрым благодаря простой глупости.

Не только события революции доказали это качество в нем: его физические привычки доказали это задолго до этого. Он был решительным и способным всадником: такая способность в этом виде спорта невозможна для труса. Кроме того, он отличался теми побочными проявлениями мужества, которые заметны даже в отсутствие физической

опасности: он без колебаний противостоял множеству людей и обладал способностями к механическому ремеслу — делу, которое ни в коем случае не может быть оторвано от мужественности.

Говоря о его мужественности, студентам важно помнить, хотя этот вопрос можно затронуть лишь вскользь, что Луи в этой сфере физической жизни страдал от механического недостатка, который серьезно исказил первые годы его брака, несомненно, ранил его самоуважение и, возможно, был единственной причиной его постоянной тревоги по поводу. Летом 1777 года он был излечен с помощью медицины, но к тому времени он уже три года был королем и семь лет мужем. Эта трагедия повлияла на всю его жизнь, и, повторяю, о ней нельзя забывать, когда рассматриваешь его или Марию-Антуанетту с точки зрения их интимного характера и их роли в великой драме.

В остальном характер Людовика выдавал определенные несостоятельности (слово «несостоятельность» в этом контексте гораздо точнее, чем слово «слабость»), которые были особенно фатальны для военной должности, которую он занимал, и для военного кризиса, с которым ему пришлось столкнуться.

Немногие люди обладают тем взглядом, тонким чутьем, способностью быстро принимать решения и пониманием человеческих контрастов и различий, которые делают человека подходящим лидером вооруженных сил, больших или малых. Большинство людей посредственны в сочетании этих качеств. Но Луи был совершенно безнадежен в этом отношении. Он никогда не мог увидеть простейшую позицию и не мог оценить военные аспекты любого характера или любого отряда людей. Он умел ездить верхом, но не мог ехать во главе колонны. Он не просто был плох в этом деле, он был нулевым. Призванный в армию рядовым, он никогда не был бы допущен к обязанностям капрала. Он был бы невозможен в качестве сержанта, а, обладая офицерским званием, насмешки заставили бы его уволиться.

Этот недостаток проявлялся не только и не главным образом в его неспособности лично противостоять вооруженному кризису революции; он проявлялся не только и не главным образом в его полном крахе во время штурма дворца 10 августа: он был также, и в гораздо большей степени, катастрофической причиной его неспособности контролировать или даже выбирать военных советников.

Те, кто в начале революции предлагают сдержать толпу в Париже, являются отличными командирами, но Людовик этого не знает. Те, кто сменяют друг друга в Министерстве войны или во главе армий во время активной фазы революции, крайне разнообразны, но для него все они кажутся одинаковыми. Людовик не делал различия между таким щеголем, как Нарбон, и таким тонким, опытным кавалеристом, как Дюмурье. Военные качества Лафайета (которые нельзя было презирать) значили для него не больше, чем музыка, хорошая или плохая, для глухого человека. С начала до конца движения вся военная проблема ускользала от него.

Еще одним недостатком его характера, который имел первостепенное значение в то время, была его неспособность ясно видеть какие-либо общие социальные проблемы. Он хорошо понимал карты и хорошо запоминал статистику, но пейзаж, так сказать, революции его выпуклые и вялые глаза полностью упускали из виду. Он был совершенно неспособен увидеть, где таилась опасность, а где поддержка, в каких больших массах были сгруппированы те или иные силы и в каких направлениях они продвигались или в каких

должны были отступать. В этом вопросе он был, как станет ясно через мгновение, полной противоположностью Мирабо, и именно из-за этой слабости, или, скорее, этой формы несостоятельности, все видение Мирабо было потрачено на Луи.

Наконец, он не имел практического понимания Европы. Он даже не преувеличивал силы союзников на поздних этапах революции, когда они шли на Францию. Он не недооценивал и не переоценивал политику и военно-морские силы Великобритании, военные ресурсы своих подданных, вероятную симпатию Нидерландов (антиавстрийских, но католических), упадок Испании, раскол и бессилие Итальянского полуострова. Людовик ничего из этого не видел.

Можно завершить эту картину (для целей такого краткого исследования, как это) словами о том, что только одно стечение обстоятельств могло бы привести его к успеху в лабиринте того времени. Это стечение обстоятельств заключалось бы в наличии рядом с ним друга, которому он доверял с детства, которого он любил, который был таким же религиозным, как и он сам, и при этом обладал именно теми качествами, которых ему самому не хватало. Если бы Людовик нашел такого помощника, упомянутые мной качества стали бы для него своего рода килем и балластом, которые обеспечили бы стабильность монархии, ведь он не был слабым, не был импульсивным, не был даже глупым: он был просто несчастен в своей неспособности. Конечно, такой человек мог доверять только близким людям () и полагаться только на тех, кто был ему близок, но у него не было таких близких, тем более близких, которые обладали бы качествами, о которых я говорил.

Будучи тем, кем он был, его характер входит в число полудюжины характеров, которые определили ход революции.

КОРОЛЕВА

Мария-Антуанетта представляет собой исторический персонаж, которого чрезвычайно интересно рассматривать в целом. Рассмотреть этот персонаж в целом — дело ее биографов, но в связи с Революцией важен только один аспект, а именно отношение, которое такой персонаж был вынужден занять по отношению к французскому народу, в среде которого оказалась королева.

Решение всей проблемы, которую ставит перед нами поведение королевы, заключается в том, чтобы понять пропасть, которая отделяла ее не только от французского менталитета, но и от понимания всего французского общества. Будь она женщиной, лишенной энергии или решительности, эта чуждая ей черта характера была бы незначительной, а ее незнание французов во всех формах их деятельности, или, скорее, ее неспособность понять их, было бы лишь частным недостатком, приводящим к определенным локальным и непосредственным последствиям, но никоим образом не определяющим основные направления революционного движения.

Однако ее энергия была не только обильной, но и непоколебимой; с годами она становилась все более уверенной в своих действиях, а инициатива, которая давала этой энергии ход, никогда не колебалась, а всегда была прямой. Она знала, чего хочет, и пыталась, часто с частичным успехом, воплотить свои убеждения в жизнь. В первые годы революции не было ни одного человека, связанного с исполнительной властью, который мог бы сравниться с ней по твердости целей и четкости взглядов.

Именно из-за этой энергии и целеустремленности ее непонимание материала, с которым ей приходилось иметь дело, имело столь фатальное значение.

Именно она выбрала до начала революции смену министров, как либеральных, так и реакционных, чьи неразумные планы с обеих сторон привели к насилию. Именно она призвала, а затем отстранила, а позже вновь вернула на должность богатого и переоцененного Неккера; именно она заменила его, а затем так неудачно уволила Калонна, самого национального из предшественников революции, который впоследствии стал ее самым ярким врагом; именно она советовала наиболее раздражающие детали сопротивления после заседания первого революционного парламента; именно она руководила (и помогала искажать) планы бегства королевской семьи; именно она, после того как это бегство провалилось, разработала четкий план принуждения французского народа правительствами Европы; именно она предала иностранным канцеляриям французский план кампании, когда война стала неизбежной; наконец, именно она вдохновила декларацию Брансвика, сопровождавшую вторжение на французскую территорию, и именно она была автором содержащейся в ней знаменитой угрозы подвергнуть Париж военной казни и призвать все народные власти ответить жизнью за восстановление дореволюционного положения дел.

По мере продвижения исследований, историки будут все больше и больше осознавать огромное влияние постоянного и решительного вмешательства этой женщины.

Теперь представление Марии-Антуанетты о человечестве в целом было представлением, которое преобладает в таких обществах, как тот домашний и теплый центр, который питал ее детство. Романтическая привязанность нескольких равных, личная преданность горстки личных слуг, смутное театральное содержание, которое пронизывает бедняков при виде великолепных экипажей и богатых нарядов, восторги толпы, когда такие символы монархии демонстрируются на улицах — все это для Марии-Антуанетты было основополагающими политическими чувствами человечества. Отсутствие этих чувств она воспринимала с недоумением, а активное противодействие им она ненавидела как нечто одновременно непонятное и явно злое.

Во всей этой иллюзии, конечно, был большой элемент того, что англичане называют средним классом, а французы — буржуазией. Быть совершенно невежественным в том, что слуги говорят о своих хозяевах за их спинами; не ценить что героическая преданность — это способность немногих; никогда не представлять себе недовольства людей в целом и творческого стремления к самовыражению, которое вдохновляет людей, когда они действуют политически; не знать, что люди в целом (и особенно французы) не обманываются случайностями богатства и не придают бедности никакого реального превосходства; презирать общую волю большинства или сомневаться в ее существовании; видеть общество, построенное не по иерархии должностей, а по иерархии досуга: все это может показаться демократу очень неестественным и презренным настроением. Но это не было презренным и тем более неестественным; в случае Марии-Антуанетты это был единственный опыт и единственное представление о обществе, которое ей когда-либо давали. Глядя на массы народа, она всегда верила, что разница между толпой и ею самой была моральной реальностью. Контраст во внешних привычках между богатыми, средним классом и бедными — контраст, в конечном счете обусловленный различиями в возможностях и досуге, которые дает богатство, — она считала фундаментальным. Так же, как дети и некоторые домашние животные рассматривают такие экономические случайности в обществе как нечто реальное, что отличает людей, так и она; но ей посчастливилось питать эту иллюзию среди народа и в одном дне ходьбы от столицы, где это заблуждение было менее распространено, чем в любом другом районе Европы.

Она ничего не знала о чертах, присущих французам, или, говоря более категорично, не могла поверить, что они действительно существуют.

Ей было невообразимо, до каких крайних проявлений жестокости мог дойти этот народ, равно как и до каких крайних проявлений мужества он мог подняться под воздействием тех же эмоций, которые возбуждали в нем чрезмерную ненависть. Но то качество французов, которое она совершенно не могла предвидеть или понять, было их способность к *коллективной организации*.

То, что множество людей могло обучить и организовать себя для достижения общей цели, быстро найти и назначить офицеров, которые должны были воплотить эту цель в жизнь, и в целом за один момент превратиться из простой толпы в зарождающуюся армию — это была способность, которой французы обладали и обладают в особой степени, и в которую она (как и многие из наших современников, особенно те, кто имеет немецкую кровь) не могла поверить. Эта способность французов, когда она проявлялась в действии и была очевидна в физических столкновениях Революции, до самого конца казалась ей чем-то вроде кошмара; чем-то, что по всем законам реальности *не* должно было происходить, но каким-то образом происходило, как злое чудо. Именно ее незнание этого главного момента заставляло ее постоянно полагаться на использование регулярных войск, причем в недостаточном количестве. Она не могла не верить, что несколько обученных солдат обязательно являются хозяевами больших гражданских формирований; их униформа была для нее весомым аргументом, а простые гражданские формирования, какими бы многочисленными они ни были, всегда представлялись ей в ее представлении как сборище разнородных и неорганизованных людей. Она верила, что в народных массах нет ничего, что можно было бы атаковать или чему можно было бы сопротивляться, кроме мнения, страха или алчности отдельного человека. В этом ошибочном суждении о французском народе она не была исключением: эта ошибка повторяется снова и снова иностранцами и даже некоторыми местными комментаторами, когда они пытаются объяснить те или иные национальные движения галлов. Избавиться от этого заблуждения — первый урок, который должны усвоить те, кто хочет управлять французами или сопротивляться им.

В вопросах религии (которые, как читатель может видеть на этих страницах, играют такую важную роль в истории революции) королева изначально была гораздо более равнодушной, чем ее муж, хотя и соблюдала определенные личные обряды. Только после того, как на нее обрушились тяжелые несчастья, в ее повседневной жизни появилась какая-то степень личной преданности, хотя следует признать, что, как бы предчувствуя беду, она обратилась к религии в месяцы, непосредственно предшествовавшие началу реформы.

Остается описать личное влияние, которое она оказывала на тех, кто находился в ее непосредственном окружении. Большинство французской аристократии она отталкивала. То же несчастье, которое не позволяло ей понять французский характер в целом, отдалило ее от той его части, которая принимала форму французской аристократической традиции. Она не понимала ее жесткости, ее точности, ее блеска или ее суровости: и она искренне не любила все четыре качества.

По этой причине она производила на великие семьи своего двора, и особенно на женщин из них, впечатление вульгарности. Если бы она выжила и ее несчастья не были столь трагичными, легенда, которую она оставила бы во французском обществе, безусловно, была бы легендой о беспечности, самоудовлетворенности и отсутствии достоинства, которые для французов того ранга имеют такое же значение, как громкий голос, плохой акцент и

недостаточное соблюдение правил повседневного поведения для представителей соответствующего ранга в современной Англии.

С другой стороны, она легко поддавалась лести со стороны людей, стремившихся к должностям, и большая власть, которой она обладала в политике непосредственно перед началом революции, сделала ее, так сказать, *мишенью* для политиков.

Они преследовали ее, зависели от ее покровительства и в то же время тайно высмеивали ее. Ее манеры, призванные произвести впечатление на окружающих и действительно производившие такое впечатление на большинство иностранцев, казались большинству французских наблюдателей (из того сословия, которое позволяло им обращаться с ней на «ты») несколько театральными, а порой и вовсе нелепыми. Серьезность, которую она проявляла в нескольких линиях поведения, и в частности в своей решительной враждебности к определенным личностям (например, к Лафайету), была открытой и яростной, что казалось им просто грубым и неразумным; кроме того, ее роскошь, как заметили в изысканном мире Версаля (), почти никогда не была ее собственным выбором, а почти всегда была подражанием другим.

В связи с этой чертой роскоши читатель должен с самого начала понимать, что она была сильно преувеличена ее современниками и еще больше преувеличена потомками. Она не была очень легкомысленной, и тем более распущенной женщиной. Она была ужасно болтливой, но, безусловно, добродетельной.

Она играла в азартные игры, но с течением времени и благодаря предполагаемому неограниченному состоянию короны, ее азартные игры не были часто чрезмерными; ее расходы на драгоценности и одежду сегодня считались бы весьма умеренными для любой дамы из наших богатых семей. С другой стороны, ее прихоти были постоянными и постоянно менялись, особенно в начале ее жизни.

Поскольку окружающий ее мир двора, который она не понимала и который не испытывал к ней симпатии, был готов найти какой-нибудь повод для нападок на нее, повод в виде распущенности был для них самым легким; но обвинение это было несправедливым.

Если бы судьба сделала ее женой бедного человека из низшего слоя общества, Мария-Антуанетта была бы способной хозяйкой: ее богатая энергия нашла бы себе достойное применение, и по своей природе она ни в коем случае не была расточительной.

У нее было несколько очень страстных и несколько слишком сентиментальных дружеских отношений, некоторые из которых были взаимными, а другие использовались их объектами в своих интересах. Двумя самыми известными были ее дружба с принцессой де Ламбаль и мадам де Полиньяк. Они нередко побуждали ее к неразумным актам покровительства, которые немедленно подхватывались народным голосом и обращались против нее. Они были одними из немногих слабостей, заметных в ее общем характере. Они, безусловно, были неуравновешенными и непродуманными.

Она также позволяла себе ряд мелких и незначительных флиртов, которые можно было бы назвать почти обычным явлением для ее положения и круга общения; в своей жизни она испытывала только одну большую любовь к противоположному полу, и эта любовь была горячо взаимной. Ее объектом был шведский аристократ ее возраста, по своему характеру полная противоположность французам, романтичный рыцарь, крайне непрактичный, мягкий, чрезвычайно сдержанный; его звали граф Аксель де Ферсен. Их отношения оставались чистыми, но она любила его всем сердцем, и в последние месяцы своей трагедии это чувство, пожалуй, было главным в ее душе. Они виделись очень редко, часто были

разлучены на годы; возможно, именно это придавало этой странной романтической истории очарование и верность.

МИРАБО

Мирабо, лидер «практичных» людей Революции (как в английском языке можно было бы охарактеризовать наиболее заметную черту их политической позиции), требует особого внимания. Его влияние на ранний период революции было настолько значительным, последствия его смерти были настолько определяющими и окончательными, спекуляции о том, что *могло* бы произойти, если бы он выжил, настолько плодотворны, интересны и распространены, а положительное влияние его позиции на развитие революции после его смерти было настолько широким, что неправильное понимание Мирабо в значительной степени означает неправильное понимание всего движения; и, к сожалению, Мирабо был плохо или поверхностно понят многими из трех поколений историков; ведь понимание этого персонажа — дело не исследования и не накопленных исторических деталей, а скорее задача сочувствия.

Мирабо был по сути художником, со всеми силами и слабостями, которые мы обычно ассоциируем с этим термином: то есть сильные эмоции привлекали его как внутренне, так и внешне. Он любил наслаждаться ими сам и любил вызывать их у других. Поэтому он изучал и в совершенстве владел материалом, с помощью которого можно было вызвать такие эмоции; он сам поддавался сильным эмоциям и искал их там, где их можно было найти. Глупо как преуменьшать, так и преувеличивать этот тип темперамента. На нем или на его смеси с другими качествами основана музыка, пластическое искусство и в значительной степени постоянная литература мира. Эта способность наслаждаться эмоциями и вызывать их у других придает интеллектуальному труду форму, которая делает его вечным. Именно это « » мы имеем в виду, когда говорим, что *стиль* необходим книге; что великую цивилизацию можно частично судить по ее архитектуре; что, как говорит Платон, музыка может быть нравственной или безнравственной, и так далее. Художник, хотя и не является источником человеческих дел, является необходимым и подходящим союзником в их развитии.

Когда я говорю, что Мирабо был художником, я имею в виду, что где бы ни проявлялась его энергия, он стремился получать удовольствие и доставлять удовольствие другим с помощью какого-то определенного средства. Это средство было отчасти литературным, но в гораздо большей степени устным выражением. Быть *трибуном*, то есть голосом большого числа людей, убеждать, нет, даже радовать своим акцентом и ритмом речи — все это занимало этого человека; но он также привнес в свое искусство то, без чего не может существовать ни одно великое искусство: чистый интеллект.

Он верил, по крайней мере, в основные принципы, лежащие в основе революционного движения, он понимал их и был готов их пропагандировать; но его власть над людьми не была обусловлена этой убежденностью: его власть над людьми была полностью властью художника, и если бы он по какой-то случайности был вовлечен в борьбу против демократии, он был бы почти так же известен, как и под титулом ее защитника. Поэтому мы всегда должны рассматривать Мирабо как оратора, хотя и оратора, наделенного тонким и ясным умом и немалой долей разумной веры.

О нем еще многое можно сказать.

Он был джентльменом, то есть он как наслаждался, так и страдал от последствий, связанных с наследственным богатством и атмосферой, окружающей его расхождение. По этой причине, будучи лично недостаточно обеспеченным богатством, он всегда был в долгах и считал суммы, необходимые для его положения в жизни и его больших возможностей, так сказать, долгом общества перед ним. Мы правы, когда говорим, что он брал взятки, но неправы, если думаем, что эти взятки связывали его так же, как они связывали бы человека более низкого характера или менее удачливого по рождению. Он, как и подобает джентльмену, опускался до всех видов низких интриг, чтобы получить «необходимое и средства», то есть деньги для своей *роли*. Но за ним стояла движущая сила, связанная со всем его характером, которая делала невозможным, чтобы какие-либо суммы контролировали его речь или делали из такого человека простого адвоката. Он никогда не был самым грязным из политических явлений, «партийным человеком». Он никогда бы не стал «парламентским марионеткой», будь он рожден на сто лет позже и брошен в грязь современной парламентской жизни.

За Мирабо стояла определенная личная история, которую мы должны рассматривать в связи с его темпераментом.

Он много путешествовал, хорошо знал англичан и немцев из богатых классов. Он плохо знал народ даже в своей стране, а за границей не знал его вовсе. Он страдал от неприязни отца, от последствий своих собственных необузданных страстей (), а также не в последнюю очередь от простой случайной неудачи. Способный к длительной и верной привязанности к какой-либо женщине, он никогда не имел возможности для такой привязанности до последних нескольких месяцев перед своей смертью. Способный к лояльной и усердной службе какой-либо политической системе, он не был выбран ни одной политической системой в качестве своего слуги. Интересно поразмышлять о том, что он мог бы сделать для французской монархии, если бы судьба рано поместила его при дворе и дала ему право голоса в делах французской исполнительной власти до начала революции. В действительности революция предоставила ему возможность лишь потому, что разрушила старые барьеры и условности и разрушила структуру государства, в котором он жил. Он был вынужден вступить в революцию как своего рода разрушитель, поскольку никаким другим путем он не мог получить свой шанс; но по своей природе он ненавидел разрушение. Я имею в виду (поскольку эта фраза несколько расплывчата), что он ненавидел тот дух, который лишает нацию определенных постоянных институтов, служащих конкретным целям, без четкого плана того, как эти институты должны быть заменены другими, чтобы служить аналогичным целям. Именно по этой причине он был самым искренним и преданным защитником монархии: постоянного института, служащего конкретным целям национального единства и подавления тенденций к олигархии в государстве.

Мирабо не имел революционного видения. В уме он преждевременно состарился, потому что его ум работал очень быстро над очень разнообразной областью опыта. Чистая доктрина демократии, которая была религией для многих его современников, со всеми последствиями религии, он никогда не думал принимать. Но некоторые последствия предлагаемых реформ сильно привлекали его. Он хотел избавиться от бессмысленных и мертвых барьеров, привилегий, которые больше не соответствовали реальным социальным различиям, старых традиций в управлении торговлей, которые больше не соответствовали экономическим условиям его времени, и (это ключевой момент) от окаменелостей старого религиозного вероучения, которое, как и почти все его сословие, он просто считал мертвым: Мирабо был полностью отчужден от католической церкви.

На этих страницах много говорилось и будет сказано о религиозной вражде, которая, хотя люди едва ли знали об этом в то время, перерезала путь революционным усилиям и была обречена сформировать прочную линию раскола во французской жизни. Снова и снова будет повторяться то, что уже было написано, а именно, что примирение между католической церковью и восстановление демократии было, хотя люди и не знали этого, главным мирским делом того времени, и читатель этих страниц хорошо познакомится на них с деградацией, до которой религия дошла среди образованных людей того поколения. Но в случае Мирабо на этом отсутствии религии следует особенно настаивать. Мирабо не больше пришло бы в голову, что у католической веры есть будущее, чем, скажем, английскому политику тридцатилетней давности могло прийти в голову, что ирландцы могут стать богатым сообществом или что английское правительство при его жизни может оказаться в затруднительном положении из-за денег. Я использую эту параллель ради усиления своего утверждения, но это действительно слабая параллель. Никакая современная параллель в наше странное и быстро меняющееся время не соответствует твердой уверенности, которая пронизывала весь конец восемнадцатого века, что католическая вера мертва. Мирабо, пожалуй, никогда в жизни не заводил душевной беседы ни с одним человеком, который серьезно относился бы к католическим таинствам или хотя бы на мгновение встревожился из-за догматов символа веры.

Он действительно знал, что некоторые женщины и гораздо меньшее количество незначительных мужчин погрязли в старых обычаях странного, суеверного толка; он знал, что огромные, унылые районы невежественного крестьянства, пропорционально их бедности и изоляции, наизусть повторяли старые формулы Веры. Но о Вере как о живом существе он не мог иметь ни малейшего представления.

С одной стороны, он видел клерикальное учреждение экономического характера, обеспечивающее места и доходы людям его собственного ранга; он встречался с этими людьми и никогда не обнаруживал, что они вообще исповедуют какую-либо религию. С другой стороны, он видел предлагаемое общество, в котором такое ископаемое, несправедливое и бессмысленное, должно отказаться от своей власти над этими большими доходами. Но о Вере как о социальной силе, как о чем-то, способном возродиться, он не мог иметь ни малейшего представления. Ему показалось бы просто безумием предполагать, что будущее может содержать возможность такого воскрешения. Роспуск религиозных орденов, который в значительной степени был его работой, гражданское устройство духовенства, которым он руководил, были для него самыми естественными действиями в мире. Они были простым уничтожением того количества неорганического вещества, которое обременяло современное государство. Он относился к ним так же, как мы могли бы относиться к покупке пустующих площадей в наших городах, к конфискации собственности некоторых плохих землевладельцев в них. Церковь не служила никакой цели, в нее не верил никто из тех, кто имел значение, ее защищали только люди, получавшие большие доходы от выживания того, что когда-то было, но теперь уже не было живой социальной функцией.

Во всем, что касалось Революции, Мирабо был на стороне осторожности. Он не был равнодушен к концепции народного правления, он даже не испытывал к ней недоверия, но он не мог представить ее иначе, как действующей через установленную силу более богатых классов. О военной мощи он судил в основном глазами пруссии. И в длинных и восторженных пассажах он описывал прусскую армию как непобедимую. Если бы он дожил до того, чтобы увидеть военный энтузиазм республиканцев, он бы совершенно не доверял им. В глубине души он отдавал предпочтение аристократическому устройству общества — хотя и не аристократической теории государства; он был полон решимости сохранить в

качестве живого, но уменьшившегося национального органа традиционную монархию Франции; его интересовал ряд деталей, которые были налицо и были близки его глазам: методы голосования, конституционные проверки, коммерческие кодексы и все остальное. Его интересовали также небольшие дипломатические ухищрения и наблюдение за людьми, находящимися непосредственно под его наблюдением в парламенте.

Именно в парламенте заключалась вся его деятельность, именно там он начал руководить революцией, именно его отсутствие в парламенте после его смерти революция больше всего ощущает летом 1791 года.

Этот очень краткий очерк не представляет Мирабо читателю. Он может быть должным образом представлен только в его речах и в более риторических документах. Вполне вероятно, что со временем его репутация в этом отделе будет расти. Его конституционные идеи, основанные на иностранных институтах, и особенно на англичанах того времени, были неприменимы к его собственному народу и теперь почти забыты: он ошибался в английской политике так же, как и в немецкой армии, но искусство у него было выше людей, и его личность сохраняется и растет со временем.

LA FAYETTE

Характер Лафайета пострадал главным образом из-за его собственной отчужденности по отношению к современникам, с одной стороны, и из-за его жесткой принципиальности - с другой. Обе эти причины явно связаны. То же самое качество в нем, которое делало его таким принципиальным, делало его презрительным к окружающим его людям. По сути, он был ближе к крайним республиканцам, чем к какому-либо другому классу, начиная с самого факта обладания четким политическим кредо и решимости следовать ему и заканчивая его логическими следствиями. Но у него не было ни малейшего шанса понять конкретную сторону движения или людей, вовлеченных в него, поскольку огромное богатство, унаследованное им в самом раннем возрасте, отрезало его от опыта. Его моральным недостатком, несомненно, было честолюбие. Это было честолюбие, которое работало как бы в пустоте и никогда не соизмерялось со способностями или возможностями других людей. Он не строил планов продвижения по службе не потому, что презирал бы использование интриг в разумных целях, а потому, что был неспособен к этому. Он был чрезвычайно привязан к популярности, и когда она приходила, он считал это своим долгом; непопулярность, в свою очередь, казалась ему доказательством подлости тех, кто презирал его. Он сделал себя слишком большим мерилom своего мира.

Несомненно, очень большую роль в формировании его характера сыграл опыт, полученный им в Соединенных Штатах Америки. Тогда он находился в самом впечатлительном и формирующемся периоде человеческой жизни, был немногим старше мальчика или, по крайней мере, только вступал в раннюю зрелость. Он только что женился, он только что приступил к управлению своим огромным состоянием. В такой момент он принял участие в победоносном восстании английских колоний, и можно себе представить, насколько сильным было влияние этого юношеского видения на всю будущую жизнь человека; поскольку в колониях не было пролетариата, он никогда не видел и не понимал обездоленных классов Парижа — если уж на то пошло, он никогда не видел и не понимал французских крестьян на своих собственных землях; потому что случайная солдатня-доброволец в особых условиях полузаселенного атлантического побережья совместно с французским флотом и с помощью французских денег и оружия сумела добиться успеха. одержав верх над небольшими и разнородными силами Георга III, он верил, что такая

военная нация, как Франция, среди могущественных врагов, могла бы стать чем-то вроде гражданской силы-любителя; поскольку определенный тип непринужденности в социальных отношениях был идеалом многих, возможно, большинства, из тех, с кем он служил в Америке, он перепутал столь простой и приземленный идеал с яростным духом крестового похода и священной страстью к равенству, которые волновали его собственную нацию, когда ему представилась возможность стать лидером.

О Лафайете можно с полной справедливостью сказать, что он ни разу не поступил правильно. Справедливости ради можно также сказать, что он никогда не совершал каких-либо важных политических поступков, за которые его собственная совесть впоследствии упрекала бы его. Примечательно, что королева питала к нему особую ненависть. Он был богатым молодым аристократом при Дворе, другом всех ее подруг, и поэтому его симпатии к революционному движению в момент его зарождения казались ей не чем иным, как государственной изменой. Также, несомненно, в его манерах было что-то такое, что сильно отталкивало ее; в том, что они были самодостаточными, мы не можем сомневаться, и что они часто были бесполезными и поэтому раздражали женщин, достаточно показать на примере событий. Но яростный личный антагонизм Марии-Антуанетты к Лафайету не был обычным явлением, хотя некоторые пылкие души (например, Дантон) разделяли его. Масса тех, кто сталкивался с Лафайетом, испытывала по отношению к нему определенное раздражение, или определенное презрение, или некоторое довольно слабое и отдаленное уважение; он не вызывал энтузиазма, и когда он робко попытался восстать против нового правительства после падения монархии, никто не захотел пожертвовать собой или последовать за ним.

Можно утверждать о Лафайете, что, если бы его не существовало, Революция развивалась бы во многом тем же курсом, что и раньше, за одним исключением: не была бы сформирована вооруженная гвардия, созданная явно средним классом, чтобы вызвать трения в Париже: Национальная гвардия была бы более открыта для всех чинов.

В религии этот человек был болеутоляющим, католик, конечно, по крещению, но явно протестант по морали и общему тону, в догмах (до конца своей жизни) вольнодумец, конечно, как и все его современники. Лично он был храбр, но по глупости презирал дуэль. Один анекдот из многих поможет читателю составить представление о его характере. Мирабо, как обычно, искавший помощи в погашении своего долга, срочно послал к нему, как к собрату-дворянину, собрату-политику и собрату-стороннику короны, с просьбой одолжить ему 2000 фунтов стерлингов. Лафайет выделил ему 1000 фунтов стерлингов.

ДЮМУРЬЕ

Дюмурье представляет собой персонажа, которого современному англичанину особенно трудно понять, настолько он далек по обстоятельствам и основам от нашего времени.

Хорошего происхождения, но рожденный в поколении, когда социальные различия стали посмешищем для умных и активных людей (а он был умным и активным), смелый, хорошо знающий свое военное дело, быстро принимавший решения и отлично разбиравшийся в войсках или *местности*, он был совершенно не в ладах с пониманием людей и не проявлял лояльности к государству.

Именно эта последняя особенность особенно удивит английского читателя, поскольку единственным и постоянным преимуществом олигархических сообществ, таких как

британское, является то, что они сохраняют при любых стрессах и демонстрируют всему содружеству чувство Государства. Предавать государство, действовать против его интересов, недостаточно хорошо осознавать его существование - это преступления или слабости, неизвестные гражданам олигархии, и гражданину этой страны сегодня нелегко представить их себе. С другой стороны, в демократиях и деспотизмах забывать о своем долге перед государством, почти не обращать внимания на его корпоративное существование - обычная слабость. Здесь есть компенсация, и в той мере, в какой деспотизм и демократия допускают быстрые, эффективные и всепобеждающие действия со стороны государства, в той мере, в какой они допускают внезапный и иногда чудесный энтузиазм, который спасает или утверждает государство, в той же степени им не хватает спокойного и стойкого сознания Государства, которое возвращает и определяет олигархия.

Превосходство Дюмурье как генерала могут оценить только те, кто внимательно изучил состав сил, которыми ему предстояло командовать, и противников, с которыми ему приходилось иметь дело. Главное качество великого полководца - это готовность его ума к любым изменениям обстоятельств или имеющегося в его распоряжении материала, и даже если мы допустим элемент удачи, который так важен в военном деле, мы не должны забывать, что Дюмурье спас без катастрофы жалкие и дезорганизованные отряды, зачаточные и в значительной степени мятежные в отношении своих старых частей, никчемные и любительские в отношении своих новых, которым пришлось встретиться в Аргонне и за ней с образцовой армией Пруссии.

Мы не должны забывать, что его план вторжения в Нидерланды был справедливым и разумным, и с каким мастерством после неизбежного поражения и отступления весной 1793 года он сохранил свое командование в целостности.

Как подчиненный вооруженной исполнительной власти, например, правительству Наполеона, этот человек был бы бесценен. Более того, если бы обстоятельства позволили ему сохранить верховное командование как гражданской, так и военной властью, из него вышел бы неплохой диктатор. Его простое техническое мастерство было настолько значительным, что крупные суммы, выплаченные ему английским правительством, кажутся выгодной сделкой даже на расстоянии нашего времени, а его планы защиты Англии и нападения на Наполеона являются доказательством ценности, по которой его оценивали.

Но Дюмурье был совершенно неспособен действовать в тех особых обстоятельствах, в которые он попал в момент своей измены. Простое честолюбие вело его от интриги к интриге среди политиков. Он презирал их, как был вынужден презирать активный и способный солдат; он был слишком стар, чтобы разделять какой-либо из их энтузиазмов, даже если бы его темперамент позволял ему придерживаться каких-либо взглядов, политических или религиозных. Он, конечно, никогда не чувствовал ни малейшей моральной привязанности к тому, что в его глазах было случайной анархией последних шести месяцев правления Франции, при которой он служил, и если его хотят заклеить титулом предателя, то мы должны заклеить тем же титулом все то множество самых разных людей, которые бежали из страны в эмиграции, которые покинули ее с отвращением или даже которые остались во Франции, но отчаялись в благополучии Франции во время беспорядков 1793 года.

Возможно, это достойное оправдание неспособности Дюмурье указать на то, что он также был одним из тех, кого Суд мог бы использовать, если бы знал, как использовать людей; но у Суда не было таких знаний.

ДАНТОН

Характер Дантона произвел на мир большее впечатление, чем характер любого другого революционного лидера, потому что в нем были присущие только человеку элементы, независимые от демократической теории того времени и не необходимые ни для поддержки этой теории, ни для ее критики.

Характер Дантона апеллирует к тому чувству в человеке, которое заинтересовано в действии и которое в области литературы принимает форму драмы. Его энергичность, его личная сила духа и тела, индивидуальность его внешности в равной степени поражают и человека, который любит Революцию, и человека, который ее ненавидит, и человека, который совершенно безразличен к ее успеху или неудаче.

Именно по этой причине историки, особенно зарубежные, склонны неверно истолковывать этого человека. Таким образом, Карлейль, обладающий великолепной интуицией в этом вопросе, все же делает его похожим на фермера, которым он, безусловно, не был; Мишле, очарованный его энергией, представляет его как нечто неотесанное, и в целом те, кто описал бы Дантона, стоят как бы на расстоянии, где его громкий голос и энергичные жесты могут быть лучше всего оценены; но человека, которого можно увидеть по-настоящему, нужно видеть в интимной близости.

Дантон, по сути, представлял собой соединение двух сильных характеров в человеке. Он был любящим или созидательным, и в то же время он не только обладал ясностью мышления, но и любил ее проявлять. Это сочетание является одним из самых сильных из всех, которые используются для формирования человеческой личности.

То, что было в нем привлекательного и созидательного, его мужественность, если хотите, привела его в тесное соприкосновение с реальностью; например, он знал и любил свою страну и бесконечно предпочитал ее счастливое выживание всестороннему развитию любой политической теории. Он также знал и любил своих соотечественников в деталях и как личности; он знал, что делает француза слабым и что делает его сильным. Гугенотская жилка, хотя он и не знал, что это такое, ему не нравилась в своих соотечественниках. С другой стороны, соль и свежесть французского языка были для него родными, и он наслаждался ими; свобода их самовыражения, шумность их риторики и военная подоплека - все это было тем, на что он немедленно откликнулся. Он понимал их смех и не был шокирован, как был бы шокирован человек менее национально настроенный, их специфически национальными пороками и, в особенности, их впадениями в ярость. Именно этим, должно быть, объясняется то, в чем беспристрастное суждение больше всего обвиняет его, а именно его безразличие к жестокостям, его поглощенный интерес к иностранным и военным делам в момент сентябрьской резни.

Это соприкосновение с реальностью помогло ему каким-то образом понять (хотя и только извне) природу немцев. Он понимал глупую манию их правителей к простой территориальной экспансии, не сопровождающуюся убеждением или распространением своих идей. Он ясно осознал огромное превосходство их армий над дезорганизованными силами французов в 1792 году: отсюда, с одной стороны, его понимание их внешней политики, а с другой - его умелые переговоры об отступлении после Вальми. Однако он также понимал, и более глубоко, быструю самоорганизацию, на которую были способны его собственные соотечественники, и именно на этом знании основывалась его решимость рискнуть ради продолжения войны. Следует отметить, что как в своей военной, так и в

квазивоенной деятельности он сам был в исключительной степени наделен той способностью к немедленному принятию решений, которая характерна для его нации.

Ясность его мышления позволяла ему предвидеть последствия многих революционных решений и в то же время склоняла его к сильной симпатии к демократическому кредо, к доктрине равенства и особенно к перестройке национальных институтов — в частности, его собственной профессии юриста - на простых принципах. Несомненно, он был искренним и убежденным революционером, и его доктрина проникла в него больше, чем доктрины многих его современников с их менее цельными умами. Из-за этого он не обязательно был республиканцем. Если бы какая-нибудь случайность привела в действие его гений раньше в ходе борьбы, он вполне мог бы, подобно Мирабо, с которым он проводит столь любопытную параллель, решить, что для страны лучше сохранить монархию.

Всегда следует помнить, что он был человеком широкой культуры и рано добился удовлетворительного профессионального успеха; на момент женитьбы в молодости он получал приличный доход; он в основном читал по-английски и мог говорить на нем. Его одежда была недешевой, и хотя она была несколько неряшливой (как это часто бывает с энергичными людьми, постоянно жестикулирующими), она никогда не производила впечатления небрежности или беспорядка. У него было много безразличных интеллектуальных интересов, и поэтому он был способен разумно применять их в нескольких областях. Он оценил быстрый рост физической науки и в то же время сложность старых социальных условий, которые слишком сильно отличались от современных истин.

К религии он, конечно, был, как и все люди того времени, совершенно равнодушен, но, в отличие от многих из них, он точно уловил долю ее остаточного влияния на определенные районы и отдельные участки сельской местности. В последнее время появилась тенденция преувеличивать роль, которую масонство сыграло в его выдвижении; он действительно был членом масонской ложи, как, если уж на то пошло, и все люди, видные или малоизвестные, демократические или крайне реакционные, которые появлялись на революционной сцене: вероятно, король, безусловно, старые аристократы, такие как отец мадам де Ламбаль, и все множество представителей среднего класса, от таких людей, как Байи, до таких людей, как Кондорсе. Но это значит читать историю задом наперед и представлять особенности нашего времени такими, какими они были столетие назад, чтобы сделать масонство определяющим элементом в своей карьере.

Дантон потерпел неудачу и умер по двум совокупным причинам: во-первых, его здоровье пошатнулось, во-вторых, он навязал свое здравомыслие и гражданское чутье разгоряченному яростью и продуманному военному положению второго года Республики. И для этой ярости, и для этого расчета он был препятствием; его противодействие Террору лишило его поддержки энтузиастов, но именно вмешательство, которое такое суждение внесло в планы солдат, и особенно Карно, предопределило его осуждение и смерть. Он также, как и Мирабо, несомненно, будет расти с годами и, хотя бы как представитель национального темперамента, все больше и больше становится типичной фигурой Революции в действии.

КАРНО

Карно, предшественник Наполеона и солдат-организатор первых революционных войн, был обязан своей властью хребту.

Он обладал не только здравым смыслом, но и удивительной способностью использовать его часами напролет. Возможно, этим он был обязан превосходному физическому развитию, из которого происходил, будучи старшим в очень большой семье, родившейся в семье известного юриста в Бургундии.

Карно гордился тем, что занимал должность в ученом военном ведомстве, которому предстояло в тот момент преобразовать военное искусство: ибо как Бонапарт, его преемник, был артиллеристом, так и он был сапером. Его практика применения точных знаний и гуманитарное образование, которого требовала его карьера, еще больше укрепили унаследованный им сильный характер. Что еще более важно, в своих демократических взглядах он был тем, кем не был ни один из старших офицеров, убежденным и искренним. Он не попал под влияние очень богатых или очень могущественных. Он был молод и хорошо разбирался не только в вопросах политической веры, но и в общей области философии и, в частности, в военной науке.

О нем говорили, что он изобрел революционный метод стратегической концентрации и тактического массирования в полевых условиях. В этом есть доля правды; но этот метод был бы невозможен, если бы он также не изобрел вместе с Дантоном и не поддержал после ухода Дантона от власти всеобщую систему воинской повинности.

Карно понимал, как могут только обученные солдаты, значение численности, и *он с большой проницательностью полагался на национальный настрой*; так, при Ватиньи, которая стала победой непосредственно благодаря его гению, хотя для него было в новинку внезапно сосредоточить войска справа после сдерживания на крайнем левом краю поля боя, все же это новшество не возымело бы никакого эффекта, если бы он не понимал, что со своими молодыми соотечественниками в качестве солдат он мог рассчитывать на атаку, проведенную после тридцати шести часов бдения.

На войне он использовал не только национальный, но и революционный темперамент. Например, одной из главных особенностей революционных армий, когда они начали добиваться успеха, было создание рядов стрелков, которые упорно продвигались перед основными силами и были первыми в истории современных войн, кто научился использовать прикрытие. Это развитие было спонтанным: оно было произведено внутри каждого подразделения, а не каким-либо общим командованием. Но Карно узнал его в Хундсхуте и с тех пор пользовался им постоянно.

Стоическая непреклонность его характера - самый благородный из многих благородных черт его души. Он так и не признал империю и перенес изгнание, казавшись из-за этого в глазах самого подлого и умного из своих современников, Фуше, простым дураком. Он был так же строг к себе, как и к другим, по своему складу ума был полностью военным и главным контролером Террора, который он использовал так, как это было задумано, для военного спасения республики.

МАРАТ

О Марате легко судить. Полную искренность энтузиаста нетрудно оценить, когда его энтузиазм посвящен простому человеческому идеалу, который был, так сказать, фундаментальным и общим для всего человечества.

Равенство внутри государства и управление государством по его общей воле: эти первичные догмы, к которым повернулась вся Революция, были кредо Марата.

Те, кто стал бы высмеивать или осуждать его за то, что он придерживался такого вероучения, явно не способны вообще обсуждать этот вопрос. Насмешки и осуждение, которым справедливо подвергается Марат, связаны не с очевидными моральными истинами, которых он придерживался, а с тем, как он их придерживался. Он не только считал их изолированными от других истин — это ошибка фанатика в том, что он придерживается какой-либо истины, - но он придерживался их так, как будто никаких других истин не существовало. И всякий раз, когда он обнаруживал, что его идеал заключается в практической работе на износ или в полной остановке, его нерастраченный и острый энтузиазм немедленно искал козла отпущения, находил ответственного агента и предлагал насильственный выход из положения.

Он часто был прав, когда обличал политического интригана: он часто приносил в жертву жертву, которая не была несправедливо осуждена, он часто обнаруживал агента, частично ответственного за это, и даже насильственные решения, которые он предлагал, не всегда были невыполнимыми. Но главной ошибкой его измученного разума было то, что, кроме жертв и внезапной яростной хватки за успех демократии, он ничего другого не мог себе представить. Он был неспособен допускать несовершенства, глупости, неправильное понимание разума разумом, простое течение времени и всего того, что делает человеческую жизнь бесконечно сложной и бесконечно регулируемой.

Юмора, отражения такой мудрости, ему не доставало; “рассудительности” (как гласит английская идиома) ему не доставало еще больше — если сравнительный термин можно применить к двум таким абсолютным пустотам.

Не следует забывать, что столь полное отсутствие определенных необходимых качеств в построении разума равносильно безумию. Марат не был в здравом уме. Его безумие часто было великодушным, кредо, с которым оно было связано, было достаточно очевидным, и в глазах большинства из нас это кредо должно быть принято. Но он работал с этим так, как сумасшедший, помешанный, скажем, на коллективизме или правах собственности, мог бы работать в нашем обществе, думая о своем единственном тезисе, выкрикивая его с пеной у рта, теряя всякий контроль, когда его принятию даже не противодействовали, а просто откладывали. Он не представлял никакой ценности для достижения целей Революции. Его доктрина и его приверженность ей были настолько поразительно простыми и искренними, что неудивительно, что население сделало его (на несколько месяцев) своего рода символом своих требований.

В остальном его лицо, как и характер, было измученным; он носил с собой кожную болезнь, которая постоянно раздражала его совершенно неуравновешенный характер.

Некоторые говорят (но всегда следует остерегаться так называемой “Науки” при чтении истории), что смешение расовых типов вызывало у него постоянные физические расстройства: его лицо, безусловно, было искаженным и неуравновешенным - но предположения такого рода о физическом состоянии очень ненадежны.

Те, кто встречался с ним в управлении делами, считали его достаточно никчемным; те немногие, кто знал его близко, горячо любили его; те, кто сталкивался с ним постоянно, были утомлены и раздражены его пустой жестокостью. Среди этих молодых революционеров он был почти пожилым человеком; он был (об этом никогда не следует забывать) выдающимся ученым в своей профессии, в медицине; и он внес в Революцию

меньше вклада, чем любой другой человек, за которым закрепились столь же выдающаяся репутация. Он должен понести ответственность за сентябрьские массовые убийства.^[2]

ROBESPIERRE

Ни один персонаж Революции не нуждается для своего понимания в более широком прочтении и большем знании национального характера, чем Робеспьер.

Ни от одного персонажа понимание периода не зависит в большей степени, и ни один (по причинам, которые я сейчас приведу) не был так неправильно понят не только в популярной легенде, но и в взвешенных решениях компетентных историков.

Это настолько верно, что даже время, которое (вместе с ученостью) обычно исправляет подобные ошибки, еще не позволило современным авторам дать правдивую картину этого человека.

Причина столь заметного провала в области истории заключается в следующем: бок о бок с реальным Робеспьером существовал в умах всех его современников, *за исключением тех, кто действительно сталкивался с ним на правительственных постах*, легендарный Робеспьер — Робеспьер, которого многие воображали; и что этот воображаемый Робеспьер, хотя он (или она) оказался отвратительным для потомков, при жизни казался самому человеку очаровательным портретом, и поэтому он принял его. Ибо Робеспьеру, хотя и справедливому, не доставало смирения.

Проблема чрезвычайно тонкая и в то же время чрезвычайно сложная. Историк, когда он читает свои авторитетные источники, должен постоянно различать, что является сильным, а что — слабым доказательством, и возвращать себя, когда он читает, к реальности, вспоминая, кем был сам Робеспьер. Если он этого не сделает, он сразу же попадет в легенду; настолько сильна эта легенда в количестве людей, которые ее поддерживали, и настолько сильно сам Робеспьер поддерживал ее своим собственным отношением. Легендарного Робеспьера можно описать в нескольких строках.

Представьте себе человека, искренне убежденного в чистейшей демократической теории, человека, которого не заботило ничего другого, кроме реализации этой теории, и который никогда не приносил в жертву свое стремление к ее реализации в государстве ради какой бы то ни было личной выгоды. Этот человек, которому люди доверяют и, наконец, которого они боготворят, становится все более и более могущественным. Он входит в руководящий орган (Комитет общественного спасения), он является хозяином как внутри, так и вне этого органа и использует свое господство для установления идеальной демократии, которая признает существование Бога и опирается на гражданскую добродетель; и для утверждения этого идеала он прибегает к террору. Он обнаруживает, что отступлений людей от его идеала становится все больше: он наказывает их смертью. Резня становится чудовищной; в нее вовлекаются лучшие из демократов; наконец терпеть это больше нельзя, его непосредственные подчиненные восстают против него в Комитете, он объявлен вне закона, ему не удастся поднять народное восстание в свою пользу в Париже, его казнят, и его система террора рушится.

Эта картина, хотя и чисто легендарная по тону, содержит не только много правды, но правды именно такого рода, которая стремится сделать правдоподобным то, что ложно в целом.

Робеспьер был искренне привязан к концепции идеальной демократии; он был неподкупен в стремлении к ней — а быть неподкупным политиком равносильно чему-то вроде того, что Церковь называет героической добродетелью в человеке. Он вошел в Комитет общественного спасения; он *did support the Terror*, and when he was overthrown the Terror *did* пришел конец. Чем же тогда легенда отличается от правды?

В этих основных моментах, которые полностью меняют ситуацию: Робеспьер не имел главного влияния в Комитете общественного спасения, *то есть* всемогущей исполнительной власти Республики; что он не желал террора, что он им не пользовался, что он даже испытывал к нему отвращение и что, в общем, он никогда не был человеком, который управлял Францией.

Вряд ли нужно указывать, как такая правда разрушает подобную легенду. Вся природа двенадцати месяцев между летом 1793 и летом 1794 года должна меняться в зависимости от того, считаем мы их робеспьеровскими или нет: а робеспьеровцами они не были.

Кем они были тогда и почему возникло заблуждение, что Робеспьер был тогда мастером?

Те месяцы, которые можно грубо назвать месяцами террора, были, как мы увидим позже в этой книге, месяцами военного положения; и Террор был просто военным положением в действии — методом обеспечения военной обороны страны и наказания всех тех, кто вмешивался в это или, как предполагал Комитет, вмешивался в это.

Ни один человек в Комитете не был автором этой системы, но тем, кто был полон решимости использовать ее, и тем, у кого было больше всего возможностей использовать ее, несомненно, был военный организатор Карно. Бок о бок с ним один человек, такой как Баррер, поддерживал это, потому что это поддерживало работу Комитета общественной безопасности, который дал ему всю его политическую позицию. Другой, такой как Сен-Жюст, поддерживал это, потому что верил, что победа в войне (в которой он принимал активное участие) обеспечит демократию везде и навсегда. Другой, такой как Жан Бон, поддерживал это из старой сектантской озлобленности гугенотов. Но из всех членов Комитета Робеспьер меньше всего поддерживал Террор, и его коллеги больше всего подозревали — и с течением времени подозревали все больше — в желании вмешаться в военную систему Террора и изменить ее.

Почему же тогда Робеспьера в народе отождествляли с Террором и почему после его казни Террор прекратился?

Робеспьер был отождествлен с Террором, потому что он был отождествлен с народным шумом того времени, с крайними демократическими чувствами того времени и его крайним страхом реакции. Робеспьер, будучи популярным идиологом, стал также символом народного безумия, которое, как предполагалось, управляло страной. Но это безумие не управляло страной. Страной правил Комитет общественной безопасности, в котором Карно был главным мозгом. Робеспьер действительно был кумиром народа; он ни в коей мере не был проводником их власти или какой-либо другой власти.

Почему, когда он упал, Ужас прекратился, если он не был его автором? Потому что Террор действовал в напряжении; было крайне трудно сохранить эту абсолютную, нетерпимую военную систему, когда страх перед вторжением был устранен. За несколько недель до падения Робеспьера победы начали делать это ненужным. Когда Комитет позаботился о том, чтобы парламент объявил Робеспьера вне закона, они, сами того не подозревая,

разрушили краеугольный камень своей собственной политики; именно *его* популярное положение сделало *их* политику возможной. Когда он был уничтожен, они внезапно обнаружили, что Террор больше не может продолжаться. Люди терпели это из-за Робеспьера, ошибочно полагая, что Робеспьер желал этого. Робеспьер ушел, люди больше не хотели этого выносить.

Теперь, наконец, если сам Робеспьер всегда был настроен против системы Террора, почему он не возглавил народную реакцию против нее?

Дантон предоставил ему такую возможность в декабре 1793 года — за семь месяцев до его собственной катастрофы. Комитет решил убрать Дантона с дороги, потому что Дантон, взывая о милосердии, ослаблял военную мощь их правительства. Робеспьер мог бы спасти Дантона: он предпочел позволить принести его в жертву. Причина заключалась в том, что Робеспьер ошибочно полагал, что популярность на стороне Террора и против Дантона; он никоим образом не был лидером (за исключением риторики и риторики, направленной на то, чего люди уже желали), и его собственной большой слабостью или пороком была любовь к народному признанию.

Позже, летом 1794 года, когда он действительно начал выступать против Террора, он делал это только в частном порядке. Он настолько неправильно понимал людей, что все еще верил, что Террор популярен, и не осмеливался потерять свое популярное имя. Человек по натуре искренний, как кристалл, в последние месяцы своей жизни он был склонен к неискренности в этом важном вопросе и полностью поддался искушению. Ради его памяти это было прискорбно, и прискорбно также для истории. Его слабость стала причиной исторической ошибки, столь же серьезной, как любая, которую можно обнаружить в современных письмах, и в то же время полностью оклеветала его перед потомками.

Одним из факторов высокого общественного положения Робеспьера, о котором часто забывают, является огромный эффект его речей. То, что люди все еще спорят, после столь значительной перемены во вкусах, были ли эти речи красноречивыми или нет, является достаточным доказательством их воздействия. Он говорил в упорядоченной и аргументированной манере, которая наскучила прекраснодушным людям прежних парламентов, но хорошо соответствовала жестоким убеждениям более поздней революции. Его фразеология, его точка зрения просто совпадали с точкой зрения его аудитории. Он мог выразить то, что они чувствовали, и выразить это в терминах, которые они считали точными и которые они считали грандиозными. Ибо его манеры никогда не были чрезмерными, и те чрезмерные люди, которые слушали его в чрезмерном настроении, гордились тем, что их ярость могла быть выражена с такой ученостью и умеренным мастерством.

По происхождению он происходил из мелкого дворянства, хотя и бедного. О его характере свидетельствует то, что он думал о том, чтобы принимать Заказы, и что в ранней юности литературное тщеславие сказывалось на нем. Он не оставил памятника; но из-за силы его веры и из-за того, что он ее практиковал, его имя, хотя и вряд ли приумножится, несомненно, сохранится.

СНОСКИ:

[2] Существует только одна заслуживающая доверия монография о Марате. Это заинтересует ученика как доказательство энтузиазма, который может внушить Марат. Автор: Шампфлери.

IV

ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ

Я

С мая 1789 года по 17 июля 1789 года.

Первое, что читатель должен усвоить в истории Революции, - это ссора между ее первым парламентом и короной.

Какого характера была эта ссора?

Это не было, как иногда представляется, простым вопросом между привилегиями и демократическим требованием равенства или между традиционными органами власти и демократическим требованием самоуправления нации. Представить себе это - значит прочитать историю задом наперед и увидеть в непроверенных условиях 1789 года зрелые результаты, которые проявились только после многих лет борьбы.

Главный вопрос лежал между законностью и незаконностью.

Формы французского права и все унаследованные методы французского управления требовали определенной формы власти; централизованного правительства с неограниченной властью. Король был абсолютным. От него простейшим образом исходила любая воля, имевшая первостепенное значение в государстве. Он мог приостановить исполнение обязательств должника, заключить человека в тюрьму без суда, освободить его без пересмотра его дела, объявить войну или мир, а в незначительных деталях, таких как дисциплина и управление государственными органами, власть короны была теоретически и юридически одинаково высшей. Ею не пользовались так, как пользуются огромной властью современного правительства, она не проникала постоянно в каждую деталь жизни бедных так, как это делает власть современного английского правительства; в самой природе такой автократической власти заложено, что, будучи неограниченной в теории, она вынуждена инстинктивно и постоянно самоограничиваться, чтобы не сломаться; и автократию можно сравнить в этом с аристократией или, точнее говоря, с олигархией, правительством немногих: ибо там, где правят немногие, они знают, что их правительство опирается на общественное мнение или общественные организации. терпимость; они очень осторожны, чтобы не превысить определенных пределов, нарушение которых ослабило бы моральную основу их власти; они приветствуют союзников, они постоянно вербуют себя из других классов общества.

Точно так же автократия всегда стремится быть популярной. Ее удары затрагивают великих и могущественных и вряд ли когда-либо нацелены на массы общества. Интеллектуалы, богатые, привилегированные по рождению, состоянию или исключительным личным способностям находятся под подозрением. Что касается массы людей, то Автократия пытается представлять их и, в определенном смысле, подчиняться им.

Итак, французское самодержавие (ибо оно было ничуть не меньшим) допустило ошибку не в желании действовать таким образом всенародно на ранней стадии революции, а в *знании*, необходимом для таких действий.

Парламент, вскоре после того, как он собрался в мае 1789 года, начал демонстрировать в своей Палате общин работу той великой теории, которая волновала всю Францию на протяжении целого поколения. Палата общин заявила: "Мы - народ; одновременно символы народа, прямые обязательные слуги народа" (хотя это была выдумка) "мы принадлежим к народу по нашему рождению и происхождению. Следовательно, мы являемся истинными суверенами; а принц, глава исполнительной власти, является не более чем органом управления, морально менее авторитетным, чем мы, которые являемся истинным источником правления". Такое отношение, которое было в глубине сознания всех людей и которое, конечно же, было сосредоточено в Палате общин, вступало в противоречие с законностью. Оно не могло выражать себя в терминах закона, оно не могло действовать иначе, как способом, который должен был быть, в самом строгом смысле этого слова, *революционным*.

Итак, корона, в целом симпатизирующая нации и хорошо понимающая эту новую теорию (под Коронай я подразумеваю общую группу советников короля и самого короля), была оскорблена незаконностью не теории или притворства (ибо они не были незаконными), а действий Палаты общин. И этот сравнительно небольшой источник трения был тем раздражителем, на котором мы должны зафиксировать причину того, что последовало за этим. Дворяне 108 голосами против 47 решили на следующий день после открытия парламента заседать отдельной палатой. Духовенство гораздо меньшим большинством голосов, 133 против 114, пришло к тому же решению, но осторожно квалифицировало его как временное. Палата общин заявила, что зал, в котором они собрались, следует рассматривать как зал Национальной ассамблеи, и позже взяла за правило (цитируя фразу из предложения) "пытаться объединить всех депутатов нации в этом зале и никогда не отказываться от принципа индивидуального голосования" (то есть, не отдельными палатами) "или принципа, согласно которому Генеральные штаты образуют единый неразделенный орган". В последующие дни такая позиция была несколько смягчена и с ней в какой-то степени пошли на компромисс, но она удержала позиции, и, хотя Палата общин настаивала на такой позиции как на моральном праве, дворяне ответили подтверждением права каждой палаты на отдельное суждение по общественным вопросам. Дворяне опирались на юридический прецедент: у Палаты общин не было ничего в их пользу, кроме политической теории; если бы ордена заседали все вместе и голосовали как отдельные лица, палата общин, численность которой равнялась двум другим палатам вместе взятым, вместе со своими сторонниками из дворянства и духовенства, имела бы большинство.

Теперь король и его советники, особенно Неккер, который все еще имел большой вес, ни в коем случае не были "Сторонниками невозможного" в этой борьбе. Они желали взаимопонимания, и в течение последних дней мая и первых дней июня была предпринята попытка достичь взаимопонимания. Но попытка затянулась, и поскольку казалось, что из этого ничего не выйдет, 10 июня Сийес предложил Ассамблее "проверить свои полномочия"

(французская фраза, обозначающая признание и регистрацию присутствия каждого члена как приемлемого для всего органа и теории его Конституции), и что это должно быть сделано “в отношении каждого члена” (имея в виду членов всех трех сословий, а не только Палаты общин), “независимо от того, присутствовали или отсутствовали члены двух привилегированных палат”. Перекличка была объявлена и завершена 15-го числа. Никто из дворян не присутствовал на общей перекличке, трое приходских священнослужителей (они были из провинции Пуату) сделали это и, таким образом, признали право Палаты общин действовать подобным образом. Позже к ним присоединилась дюжина их коллег, но это было все.

До сих пор не было предпринято ни одного действия, которое можно было бы точно назвать незаконным или революционным. Палата общин подтвердила право, основанное на политической теории, которую признавало подавляющее большинство нации, а законный носитель власти, король, еще не осудил ее. Можно провести параллель и сравнить действия Палаты общин до сих пор с некоторыми действиями, которые профсоюз, например, может предпринять в Англии; некоторыми действиями, законность которых сомнительна, но по которым суды еще не приняли решения.

Именно 17 июня, через два дня после завершения поименного голосования в Палате общин, произошел первый революционный акт, и тем, кто изучает Революцию, будет полезно указать пальцем на эту дату и рассматривать ее не как моральное начало движения, а как точный момент, с которого Революция как Таковая начинает действовать. Ибо в тот день Палата общин, хотя на самом деле к ней присоединилась лишь горстка представителей Духовенства и никто из знати, *провозгласила себя Национальным собранием*; то есть утверждала фикцию, что духовенство, знать и палата общин присутствовали и голосовали вместе. К этой декларации они добавили определенный акт суверенитета, который нарушал законную власть короны и противоречил ей. Правда, предложение было внесено и принято только “временно”, но использованные слова были окончательными, поскольку в этом предложении самозванное “Национальное собрание” заявило, что “временно” налоги и сборы могут быть повышены для старой власти, но только до тех пор, пока Национальное собрание не разойдется; “после этого дня” - и здесь мы достигаем, так сказать, сакраментальной формулы кризиса — “Национальное собрание *желает и декретирует*, что все налоги и сборы любого характера, которые не были специально официально и добровольно предоставлены указанным Собранием, прекратятся в каждой провинции страны”. королевство, независимо от того, как эта провинция может управляться”. (Это намек на тот факт, что в одних провинциях существовал представительный механизм, в других - не что иное, как прямое действие короны.) “Ассамблея заявляет, что, когда она *совместно с* (а не *повинуясь*) королю установит принцип национального урегулирования, она займется рассмотрением и упорядочением государственного долга”. И т.д. и т.п.

Такова была отправная точка, после которой между короной и Генеральными штатами возник спор о суверенитете; Корона была известным институтом со своими традициями, восходящими к Римской империи, а Национальное собрание - совершенно новым органом в соответствии со своими собственными притязаниями, основывающим свой авторитет на политической теории, восходящей к самым истокам человеческого общества.

Два дня спустя, 19 июня, “Национальное собрание”, все еще только самозванное и обладающее только теми полномочиями, которые оно присвоило себе вне всяких форм закона, приступило к работе, назначило свои комитеты и приняло на себя провозглашенный таким образом суверенитет. Знать запротестовала (особенно епископы),

и король, по совету Барентина, хранителя Печатей, решился на немедленное сопротивление. Под предлогом того, что Королевская сессия, как она называлась, на которой король должен был объявить свою волю, нуждалась в подготовке зала заседаний, и когда палата общин появилась у дверей этого зала на следующий день, 20-го, они обнаружили, что дверь для них закрыта. Они собрались на соседнем теннисном корте и дали торжественную корпоративную клятву, что не расстанутся, пока Франция не примет Конституцию. Они продолжали встречаться, используя для этой цели церковь, но 23-го было открыто Королевское заседание, и король объявил свою волю.

Читатель должен особо отметить, что даже в этом кризисе корона не оказала полного сопротивления. Была предпринята попытка компромисса. Неккер добился бы более или менее полной капитуляции, королева и ее окружение предпочли бы акт власти, который должен был аннулировать все, что сделала Палата общин. Что на самом деле произошло, так это разрешение Короны на то, чтобы три Ордена собирались как единое целое для отстаивания определенных общих интересов, но при этом сохранялась система голосования отдельными палатами “во всем, что может касаться древних и конституционных прав трех Орденов, Конституции, которая будет передана будущим парламентам, феодальной собственности, а также прав и прерогатив двух старших палат”. Как простая численная проверка, такой вывод уничтожил бы власть Палаты общин, поскольку, как мы видели, количество было оружием Палаты общин, которая была равна двум другим палатам вместе взятым, и если бы все заседали вместе, то вместе с либеральными представителями духовенства и знати были бы верховными. Но помимо этого численного критерия, акт о суверенитете, подтвержденный Национальным собранием, когда оно объявило себя, и только себя, компетентным голосовать за налоги, был аннулирован. Более того, королевская декларация заканчивалась приказом о том, что на следующий день три Ордена должны собраться по отдельности.

И вот в этот критический момент королю не подчинились. Течение того времени выбрало революционное русло, и по мере того, как оно начинало течь, углублялось и подтверждало свое течение с каждым проходящим днем и событием. Большинство духовенства уже присоединилось к Национальному собранию, когда оно подтвердило свое право заседать, несмотря на проверку 20 июня. В тот решающий день Королевской сессии, 23 июня, было полчаса, когда для ареста и разгона депутатов могла быть применена вооруженная сила. Они объявили себя неприкосновенными, а свой арест незаконным, но санкции на этот указ, конечно, не было. На самом деле, против них не было использовано ни одно личное дело капрала. На следующий день, 24-го, большинство духовенства снова присоединилось к заседанию Палаты общин (вопреки приказу короля), а 25-го их примеру последовали сорок семь дворян. Король уступил и 27-го, два дня спустя, приказал трем Палатам собраться вместе.

Теперь Национальное собрание было юридически сформировано и приступило к своей деятельности. Корона, старый центр власти, отказалась от своих позиций и подтвердила Революцию, но при этом она действовала как бы в противоречии с самой собой. Оно сделало технически законным незаконность, которая разрушила его собственное старое правовое положение, но оно сделало это недоброжелательно, и было очевидно, что будет предпринята попытка нанести какой-нибудь ответный удар, чтобы восстановить полную власть короны.

На этом этапе читатель должен оценить, с какими силами пришлось столкнуться лицом к лицу в предстоящей борьбе. До сих пор незаконный и революционный акт 17 июня,

Королевская сессия, на которой был дан ответ на этот акт 23-го, королевский указ, который был передан Палате общин 27-го, - все это было всего лишь словами. Если дело дошло до действий, то каким физическим силам противостояли?

На стороне короны были организованные вооруженные силы, которыми она командовала. Ибо никогда не следует забывать, что Корона была Исполнительной властью и оставалась таковой вплоть до захвата дворца три года спустя и завершения революции 10 августа 1792 года. На стороне Национального собрания, без сомнения, было общественное мнение страны (но это не та сила, которую можно использовать с оружием в руках) и, что было гораздо важнее, муниципальная организация Франции.

Место не позволяет полностью описать происхождение и силу французской муниципальной системы; достаточно указать, что вся галльская цивилизация, вероятно, с момента, предшествовавшего вторжению Цезаря, и, безусловно, с момента, когда римское владычество стало преобладающим в Галлии, была *муниципальной*. Это так до сих пор. Сельские районы получили свои названия в основном от своих главных городов. Города были резиденциями епископов, чья иерархия сохранила все, что можно было сохранить от древнего мира. В городах были колледжи, гильдии, дискуссии и корпорации, которые определяли жизнь нации. Главным из этих городов был Париж. Старые системы муниципального управления, какими бы коррумпированными и разнообразными они ни были, все еще могли дать городам возможность корпоративного самовыражения. И даже там, где этого могло не хватать, было несомненно, что будет найден какой-то двигатель для выражения муниципальных действий в условиях кризиса, подобного тому, через который сейчас проходит Франция. В Париже, например, было видно, что, когда пришло время применить физическую силу, Коллегия выборщиков, которая выбирала представителей от этого города, была готова действовать немедленно и спонтанно как муниципальный орган, который должен выражать инициативу народа. Физической силой, стоявшей за Собранием, были города, и особенно Париж, способные к спонтанной организации, готовые вооружиться и, будучи вооруженными, способные сформировать боевую силу.

Что насчет физической силы, стоявшей за королем? Его силой были, как мы уже говорили, Регулярные вооруженные силы страны: армия. Но характерно для того момента, что доверять можно было только части этих вооруженных сил. Ибо армия - это никогда не просто оружие: она состоит из живых людей; и хотя она будет действовать вопреки общему мнению своих членов и будет подчиняться приказам еще долго после того, как гражданские лица порвали бы с узами технической и юридической власти, все же для армий также существует точка разрыва в этих узах, и Корона, я повторяю, не могла бы использовать в целом франкоговорящих и родившихся во Франции солдат. К счастью для нее, очень большая часть французской армии в тот момент состояла из иностранных наемников.

Поскольку положение было фактически военным, мы должны рассмотреть, какова была стратегическая цель этих сил. Ее целью был Париж, главный из городов; и вокруг Парижа в первые дни июля со всех сторон были собраны полки наемников. После завершения военной концентрации, когда городские ворота, особенно на севере и западе, были защищены расположенными лагерем полками и особенно крупными силами кавалерии (которые всегда использовались для подавления гражданских лиц), корона была готова действовать.

11 июля Неккер, придерживавшийся либеральных взглядов, был отправлен в отставку. Было сформировано новое министерство, и началась контрреволюция. За этим последовало немедленное восстание Парижа.

Весть об увольнении Неккера достигла масс столицы (всего в часе езды от Версаля) днем 12-го, в воскресенье. Начали собираться толпы; безрезультатная кавалерийская атака на одном из внешних открытых пространств города только разожгла народный энтузиазм, поскольку атаковавшие солдаты были немецкими наемниками под командованием дворянина. Общественные силы были немедленно организованы, оружие было реквизировано в мастерских оружейников, Коллегия выборщиков, которая выбирала членов Ассамблеи от Парижа, приняла командование в Здании Гильдии, но главным моментом восстания — тем, что сделало его возможным, — был захват большого запаса оружия и боеприпасов, включая пушки, на складе в доме инвалидов.

С такими ресурсами толпа атаковала на другом конце города крепость и арсенал, которые долгое время считались в глазах народа символом абсолютной монархии, - Бастилию. Абсурдно недостаточный гарнизон Бастилии, ее очевидная неприступность для любых попыток толпы, предполагаемая, но сомнительная измена ее губернатора, открывшего огонь по тем, кого он допустил к переговорам, нас здесь не касаются. Взятие Бастилии было взято штурмом после очень значительных усилий и значительных потерь убитыми и ранеными. К вечеру того же дня, во вторник, 14 июля 1789 года, Париж превратился в грозное орудие войны. Следующей новостью была полная капитуляция короля.

На следующий день он явился в Национальное собрание, пообещав отвести войска; он пообещал отозвать Неккера; городу была предоставлена муниципальная организация с Байи в качестве первого мэра, и — что чрезвычайно важно — было юридически сформировано зависимое от этого муниципалитета вооруженное ополчение во главе с Лафайетом. 17-го Людовик вступил в Париж, чтобы завершить свою капитуляцию, направился к Зданию Гильдии, появился в трехцветной кокарде, и народная битва была выиграна.

Здесь нам надлежит рассмотреть военный аспект этого решающего акта, от которого берет начало санкция Революции, стоящая за ней физическая сила.

В Париже насчитывалось чуть меньше миллиона душ: возможно, не более 600 000: это число менялось в зависимости от сезона. Иностранцев наемных войск, которые в основном использовались для подавления народных настроений в стране, было недостаточно, чтобы ввести что-либо похожее на осаду. Они могли бы у разных ворот остановить снабжение города продовольствием, но тогда в любой из этих отдельных точек любой из их отрядов на протяженности более дневного перехода в окружности наверняка подвергся бы нападению и почти с такой же вероятностью был бы разбит массами частично вооруженных гражданских лиц.

Могли ли улицы быть расчищены, пока поднималось брожение? Это очень сомнительно. Они были узкими и извилистыми до крайности, территория, с которой предстояло иметь дело, была огромной, традиция баррикад не была забыта, и спонтанные действия того превосходного боевого материала, который есть в парижской толпе, были столь же быстрыми, как и все, что могло быть осуществлено военными приказами.

Единственной большой ошибкой было пренебрежение прикрытием инвалидов, но даже если бы Инвалиды не были разграблены, запасов оружия и пороха в городе было бы

достаточно, чтобы организовать отчаянное и продолжительное сопротивление. Местные вспомогательные силы (правда, имевшие незначительную военную ценность), “французская гвардия”, как их называли, были полностью на стороне народа. И в целом, Корона должна быть оправдана за любые существенные ошибки на военной стороне этой борьбы. Она, конечно, потерпела неудачу не из-за отсутствия воли.

Правда в том (если рассматривать только военный аспект этого военного события), что при работе с большими группами людей, которые (а) предварительно не разоружены, (б) находятся в условиях, когда их нельзя рассредоточить, и (в) способны в силу национальных традиций или характера к какой-либо быстрой, спонтанной организации, проблема всегда будет сомнительной, а фактор неопределенности (которым являются упорство, решительность и общая воля гражданских лиц, которым должны противостоять солдаты) варьируется в самых широких пределах.

Первоначально сосредоточивая войска, корона и ее советники оценивали этот неопределенный фактор слишком низко. Даже современное образованное мнение, симпатизировавшее Парижу, оценивало его слишком низко. Фактически этот фактор был настолько высок, что никакие вооруженные силы того размера и качества, которыми тогда располагала корона, не могли достичь своей цели или удержать столицу.

Что касается абсурдной концепции, согласно которой любая группа людей в военной форме, какой бы маленькой она ни была, всегда может одержать верх над гражданским сопротивлением, каким бы многочисленным и хорошо организованным оно ни было, то оно не заслуживает ни малейшего рассмотрения теми, кто интересуется реалиями военной истории. Это достойно только академий.

Так заканчивается первая фаза революции. Она длилась с открытия Генеральных штатов в мае до середины июля 1789 года.

II

С 17 июля 1789 года по 6 октября 1789 года.

Мы видели военные условия, при которых попытка вооруженной контрреволюции провалилась. Затем следует короткий этап продолжительностью менее трех месяцев, характер которого можно быстро описать.

Это был тот момент Революции, когда идеи имели самую свободную игру, когда меньше всего было сделано для проверки их применения и больше всего простора оставалось для чистого энтузиазма. Вот почему в разгар этой короткой фазы мы обнаруживаем спонтанный отказ дворянства от феодальных прав. И вот почему жестокие восстания по всей Франции продолжались. Это период, когда была обнародована Декларация прав человека и гражданина, документ, который по праву может стоять рядом с Декларацией независимости (поскольку вместе они образуют самые благородные памятники нашего современного происхождения). В тот же период были быстро обсуждены и сформулированы элементы будущей Конституции, и особенно та национальная политика *Единой палаты*, от которой современные французы неосмотрительно отказались. Однако в тот же период, ближе к концу, возникла другая форма сопротивления со стороны Короны и тех, кто консультировал Корону. Король не решался принять Декларацию прав человека и точно так же не решался обнародовать Декрет от 4 августа, которым дворянство отказывалось от своих феодальных повинностей. Было бы глупо преувеличивать военный аспект того, что последовало за этим.

Людовик действительно призвал войска, но только в количестве, достаточном для личной обороны, и мы едва ли можем поверить, что он намеревался сделать что-то большее, чем охранять окрестности своего трона. Но бригады (ибо ее больше не было, и она не была в полной силе), которую он собрал, было достаточно, чтобы возбудить подозрения; и решительно ложная позиция королевы (которую всю ее жизнь преследовала мысль, что регулярные солдаты, особенно если они были хорошо одеты и держались чопорно, были своего рода талисманом) спровоцировала взрыв. Был дан пир, на котором офицеры Фландрского полка, только что прибывшего в Версаль, были угощены офицерами гвардии. Это стало поводом для изрядного пьянства и яростной демонстрации роялистов, на которой присутствовала королева, которую она одобрила и которую, как думали некоторые, она спланировала.

Неурожай, не позволивший уменьшить нехватку хлеба в Париже, постоянное состояние тревоги, в котором пребывал Париж, и подозрения за безопасность парламента, которые он постоянно испытывал с начала лета, больше не требовались для того, чтобы спровоцировать вспышку. Ошибочно полагать, что эта вспышка была спланирована или что такое движение могло быть искусственным. Огромные массы женщин (в которых зародилось движение), а за ними и целый поток населения двинулись маршем на Версаль.

Прямого нападения на дворец не было, хотя во дворце опасались такого нападения в любой момент. Присутствовавших войск было достаточно, чтобы предотвратить насилие.

Лафайет последовал за ним ночью во главе своего нового парижского ополчения.

Слишком много полагались на военный характер этих сил; дворец был захвачен ранним утром, попытка толпы совершить покушение на королеву провалилась, хотя двое охранников были убиты. И после сцен, насилие и кажущаяся анархия в которых лишь маскировали общую решимость населения, королевская семья была вынуждена покинуть Версаль и занять свое место в Тюильри; парламент последовал за ними в Париж, и ни король, ни парламент больше не вернулись в пригородный дворец.

Это возвращение короля Парижем гораздо более значимо, чем простой порыв толпы. Король в Париже, единство его личности со столицей, было самым таинством французской жизни на протяжении столетия за столетием. Прошло ровно сто лет с тех пор, как Людовик XIV покинул Париж ради Версаля. Значение этой ошибки может быть понято гражданами аристократической страны, если они представят себе, как сквайры покидают их сельскую местность, или, опять же, будущий историк нашей современной промышленной цивилизации может понять это, когда он описывает, как богатые промышленники покидали города, в которых создавалось их богатство, чтобы жить вне и в стороне от жизненных интересов своего народа.

С возвращением королевской семьи в Париж и присутствием Ассамблеи в центре национальной жизни появляется один важный фактор, который заключается в следующем: в то время как Национальное собрание шаг за шагом продвигается к тому, что оно считает полным достижением демократии (хотя насколько частичным, скоро станет видно), сопротивление короны превращается в сопротивление простого Двора. Атака на Революцию становится личным делом. Король по-прежнему является всецело главой исполнительной власти; он может отдавать вооруженным силам любые приказы, какие пожелает; он контролирует поступления и платежи; он является правительством для всех активных целей. Но он больше не думает об этой своей главной функции и даже не

использует ее для восстановления своей прежней власти. Отныне он действует как личность, и личность, находящаяся в опасности. Королева, чей взгляд на Революцию и ее опасности всегда был сугубо личным, с этого момента, в октябре 1789 года, является руководящей волей придворной группы; и главной заботой этой группы в течение восемнадцати месяцев является личная безопасность. Окруженные пышностью Тюильри и всеми внешними проявлениями власти, еще более могущественной, чем у любого другого монарха в Европе, Людовик, его жена и их очень немногие ближайшие и преданные друзья и последователи считали дворец тюрьмой и никогда не считали свое положение иначе, как невыносимым.

III

С октября 1789 по июнь 1791 года.

Именно это должно объяснить все, что последовало на последующем этапе, который длился с первых дней октября 1789 года до последней недели июня 1791 года. В течение этого периода в двадцать один месяц король позволял Революции идти своим чередом, твердо намереваясь в конце концов помешать ей, сбежав от нее, и, возможно, победить с помощью иностранной помощи. Но даже эта политика не соблюдается последовательно. Растущее отвращение двора и самого короля к революционному развитию запрещает последовательное и чисто лицемерное принятие декретов Национального собрания.

Преднамеренная и просчитанная интрига еще могла бы спасти монархию и особ королевской семьи. Как ни странно, союзник в борьбе, превосходный интриган, спаситель монархического института и истинный защитник королевских особ был под рукой: это было под рукой в лице Мирабо.

Этот человек все больше и больше доминировал в Собрании; он был замечен с первых дней его открытия; он был самым его голосом в сопротивлении королю в Версале; именно он ответил распорядителю церемоний 23 июня, что Палата общин не разойдется; именно он добился того, чтобы члены Палаты общин были защищены от ареста. Он происходил из семьи знатного происхождения, бросавшейся в глаза народу богатством и эксцентричностью ее главы, отца Мирабо. Он сам был известен еще до того, как разразилась Революция, благодаря своему насилию, своей любви, своему уму и своим долгам. Он был на несколько лет старше короля и королевы: его личность отталкивала их; тем не менее менее его желание служить им было искренним; и в его планы входило, сохраняя огромную власть над Национальным собранием, которую обеспечивали ему его риторика и использование людей, дать Двору и, в частности, королеве, которой он очень сильно и почти благоговейно восхищался, такой тайный совет, который мог бы спасти их. Этот совет, как мы вскоре увидим, все больше и больше походил на совет о гражданской войне. Но смерть Мирабо в конце фазы, в которую мы сейчас вступаем (2 апреля 1791 г.), и растущие опасения короля и королевы между ними вообще помешали какой-либо государственной мудрости; они помешали даже государственной мудрости в интригах; и этот период стал для Революции быстрым и неконтролируемым развитием ее демократической теории (ограниченной колебаниями среднего класса), а для Двора - растущим спросом на простую физическую безопасность и бегство в сочетании с растущей решимостью вернуться и восстановить в качестве популярной монархии схему государственного правления. прошлое.

Восемнадцать месяцев, прошедших между созывом Ассамблеи и королевской семьи в Париже и смертью Мирабо, примечательны следующими моментами, которые следует рассматривать как бы параллельно, если мы хотим понять их совокупный эффект.

1. Это был период, когда была проделана конструктивная работа Национального собрания и когда изменилось все лицо нации. Консультативные органы юристов, называемые "Парламентами", были упразднены (через одиннадцать месяцев после приезда короля в Париж), современные департаменты были организованы на месте старых провинций, старое национальное и провинциальное ополчение было уничтожено; но (как это очень важно помнить) *старая регулярная армия осталась нетронутой*. Была создана новая судебная система и новые правила процедуры. Новый кодекс, набросанный вместо путаницы с "общим правом". Одним словом, это был период, в течение которого большинство из тех вещей, которые мы считаем характерными для революционной работы, были либо доведены до своего теоретического завершения, либо, по крайней мере, получили свои основные направления.

2. Среди этих конструктивных действий, но настолько важных, что их следует рассматривать отдельно, было Гражданское устройство духовенства, которое будет подробно рассмотрено далее в этой книге; это была основная работа (и основная ошибка) тех полутора лет.

3. Общий дух революции, определить который труднее, чем его теорию, но который легко оценить, если следить за развитием движения, регулярно и чрезвычайно интенсивно возрастал в течение этого периода. Власть короля, который все еще стоял во главе исполнительной власти, все больше и больше раздражала общественное мнение, и...

4. Это общественное мнение начало выражаться централизованным и национальным образом, ядром и символом которого стала великая федерация, созданная 14 июля 1790 года в Париже в годовщину падения Бастилии. Эта федерация состояла из делегатов Национальной гвардии со всей страны, и она имела огромное значение: она привнесла в революционное движение черту солдатства, которая заставила даже регулярные войска по большей части сочувствовать энтузиазму того времени.

5. Эти восемнадцать месяцев снова были заполнены движением "Эмиграции". Это движение было, конечно, отъездом многих наиболее выдающихся представителей привилегированных сословий и толпы более скромной знати, а также нескольких священнослужителей из Франции. Братья короля (один бежал в начале эмиграции, младший, граф д'Артуа; другой, старший, в конце эмиграции, что совпало с бегством короля) должны быть особенно отмечены в этой связи; они образовали вместе с более заметными из других эмигрантов регулярную политическую организацию, которая постоянно интриговала за пределами границ, в Германии и Италии, против революции. И—

6. Следовательно, именно в эти месяцы должны были быть найдены окончательные истоки большой европейской войны. Вооруженный отряд эмигрантов под командованием Конде сформировал организованный корпус на Рейне, и хотя в Европе еще не было и намека на вооруженное движение против французов, кроме их собственного, все же *эмигрантами*, как их называли, были посеяны семена, урожаем которых должна была стать война 1792 года.

Я уже говорил, что в те месяцы, когда была проделана большая часть созидательной работы Революции, когда были посеяны семена великой войны и когда абсолютное положение короны как главы исполнительной власти все больше раздражало общественное мнение Франции, и особенно столицы, Мирабо был единственным человеком, который мог бы сохранить преемственность национальных институтов путем сохранения монархии. Он получал деньги от Суда и взамен давал ему советы. Совет был гениальным, но к нему

прислушивались все меньше и меньше по мере того, как он становился все более практичным. Мирабо также выступал за оставление Парижа королем, но он хотел бы, чтобы король покинул Париж открыто и с вооруженными силами, отступил в соседний и лояльный центр, такой как Компьень, и оттуда зависел от исхода гражданской войны.

Тем временем королева придерживалась совершенно иного, гораздо более личного плана, в который не входила концепция государственной мудрости. Она была полна решимости спасти своих детей, себя и мужа. Планы побега строились, откладывались и вновь откладывались. При дворе уже было решено, что следует следовать не плану Мирабо, а этому плану простого уклонения. Армия, которой Буйе командовал на границе, должна была послать небольшие отряды по большой дороге из Парижа на восток; первый из них должен был встретить королевских беглецов немного за Шалоном и сопровождать их карету на восток; каждый вооруженный отряд в цепи по мере продолжения бегства должен был занять его оборону, пока, достигнув города Варенн, король и королева не соприкоснутся с основными силами армии.

Что должно было последовать дальше, остается неясным. Совершенно очевидно, что король намеревался не переходить границу, а укрыться в Монмеди. Конфликт, который неизбежно разразился бы, вряд ли мог ограничиться гражданской войной: иностранные армии и немецкие наемники, состоявшие на французской службе, предположительно должны были быть организованы, в случае успеха бегства, для похода на Париж и полного восстановления старого положения дел.

Если бы Мирабо был жив, этого опрометчивого и противоестественного государственному плану еще можно было бы избежать; случилось так, что он умер 2 апреля 1791 года, вскоре после того, как мы вступили в третью фазу революции, которая непосредственно привела к великой войне и падению монархии.

Вскоре после смерти Мирабо беспорядки, которые чрезмерно напугали королевскую семью, помешали королю и королеве покинуть дворец и провести Пасху в Сен-Клу, в пригороде. Хотя последовали дальнейшие отсрочки их вылета, на самом деле уклонение имело место в ночь с 20 на 21 июня. Это почти удалось, но в результате ряда мелких происшествий, последнее из которых, знаменитая поездка Друэ на перехват беглецов, является одним из самых известных эпизодов в истории, король, королева и их дети были обнаружены и арестованы в Варенне, в нескольких сотнях ярдов от безопасного места, и были доставлены обратно в Париж, окруженные огромной враждебной толпой. С провалом этой попытки бегства в конце июня 1791 года заканчивается третья фаза революции.

IV

С июня 1791 по сентябрь 1792 года.

Чтобы понять основные последствия как этого бегства, так и его провала, мы должны еще раз настаивать на верховном положении монархии в традициях и инстинктах французского государственного устройства. Неразумность бегства было бы трудно преувеличить: невозможно преувеличить моральный переворот, вызванный его провалом. Это было расценено практически как отречение. Сильная группа провинциальных, молчаливых и умеренных мнений, которые все еще были сосредоточены на короле и считали своей функцией руководить и управлять, была сбита с толку и в основном в будущем отделилась от короны.

Это прекрасное доказательство того, чем монархия так долго была для Франции, что даже в условиях такого кризиса едва ли упоминалось название “республика”, и то только в интеллектуальных кругах Парижа. Все конституционные и устойчивые силы общества сговорились сохранить монархию, несмотря ни на какие выдумки. Ополченческая гвардия среднего класса под командованием Лафайета подавила то, что известно как Массовое убийство на Марсовом поле, положившее начало народному движению. Наиболее радикальные лидеры (среди которых был Дантон) бежали за границу или прятались. Герцогу Орлеанскому совершенно не удалось воспользоваться моментом и добиться провозглашения себя регентом: монархические традиции были слишком сильны.

Сразу же после второй годовщины взятия Бастилии, в июле, парламентские декреты создали фикцию о том, что король не несет ответственности за побег, что его “увезли”, а в сентябре следующего года, хотя до этого он был отстранен от исполнительной власти, король, принеся присягу Конституции, снова стал во главе всех сил нации.

Но все эти исправления фасада конституционной монархии (фикция, безвкусица которой более оскорбительна для французского характера, чем ее ложь) произошли слишком поздно. Королева уже написала своему брату, императору Австрии, предлагая мобилизовать значительные силы и разместить их лагерем на границе, чтобы внушить благоговейный страх революционному движению. Ее действия совпали в течение нескольких дней с окончанием работы этого великого парламента, который был избран на основе самого демократического избирательного права и который преобразовал все общество и заложил основу революционной конституции. С заседанием преемника Национального собрания 1 октября 1791 года война стала уже возможной; этой возможности предстояло очень скоро превратиться в вероятность и, наконец, в действительность.

В новом парламенте вес - не численный, а руководящий - принадлежал группе восторженных и красноречивых людей, которые из-за того факта, что некоторые из их основных членов были выходцами из Жиронды, были названы *жирондистами*. Они представляли собой самый чистый и восторженный идеал демократии, возможно, менее национальный, чем тот, который отстаивали люди более крайние, чем они, но такого рода, который с тех пор и по сей день способен вызывать энтузиазм историков.

Верньо и Изнар были их великими ораторами, Бриссо - интеллектуальным интриганом, а жена Ролана, одного из их членов, была, так сказать, душой всей группы. Именно тот факт, что эти люди желали войны, сделал войну неизбежной, как только почувствовался настрой этой новой второй Ассамблеи.

Выступившие против них экстремисты, о которых я упоминал (известные как “Гора”), были сугубо парижанами по характеру. Робеспьер, который был сначала малоизвестным, а затем сектантским оратором в Национальном собрании, хотя и не заседал во втором парламенте, был, пожалуй, самой заметной фигурой в этой группе, поскольку он был публичным оратором Парижа; и действительно, Гора была Парижем; Парижем, будь то внутри парламента или за его пределами; Париж, действующий как ответственный мозг Франции. Позже именно Гора (которая первой выступила против войны) должна была обеспечить успех французского оружия жесткостью и деспотизмом в действиях, которые вызывали отвращение у более чистых и менее практичных умов жирондистов.

3 декабря 1791 года (если процитировать фундаментальную дату быстрого продвижения к войне, которая должна была трансформировать революцию) король — написав под

диктовку своей жены — умолял короля Пруссии (как *она* умоляла императора) мобилизовать вооруженные силы и с их помощью поддержать Конгресс, целью которого должно было стать предотвращение распространения революции. Это письмо было типичным для того момента. Напряжение с обеих сторон быстро приближалось к критической точке. Напряжение возникло не только из-за общих моментов. Революция нарушила европейский договор, аннексировав Папское государство Авиньон, и она нарушила европейские конвенции, когда отменила в Эльзасе феодальные права, которыми обладали князья империи. Это было похоже на то, как если бы какое-нибудь государство в наши дни, стремясь к коллективизму, конфисковало вместе с другим имуществом ценные бумаги, лежащие в его банках, но принадлежащие гражданам иностранного государства.

Со стороны революционеров также был определенный спорный момент, который заключался в разрешении, данном внутри империи эмигрантам, биться с оружием в руках и угрожать французской границе.

Но эти точные и юридические моменты не были истинными причинами войны. Истинными причинами войны были желание нереформированных европейских правительств (особенно правительств Пруссии и Австрии) остановить Революцию в их собственных интересах и убежденность в том, что их вооруженные силы легко способны осуществить разрушение нового французского *режима*.

Венский двор отказался принять справедливую компенсацию, предложенную принцам империи в Эльзасе за потерю их старых феодальных прав; император Леопольд, принадлежавший к тому же поколению, что и французские король и королева, умер 1 марта 1792 года, и ему наследовал сын всего двадцати четырех лет от роду, которого легко склонить к войне.

На французской стороне, за исключением Гора и особенно Робеспьера, существовала любопытная коалиция мнений, требовавших войны.

Двор и реакционеры были достаточно уверены в победе союзников, чтобы найти свое спасение в войне.

Революционная партия, то есть масса общественного мнения, и “патриоты”, как они себя называли, жирондисты, также, и особенно, желали войны как своего рода крестового похода за революцию; они страдали тяжелыми иллюзиями, как и всегда должны страдать энтузиасты, и верили, что французские вооруженные силы способны выдержать удар. Планы кампании уже были составлены (и королева незамедлительно выдала их врагу); Дюмурье, превосходный солдат, с середины марта 1792 года был главным лицом в министерстве и директором иностранных дел, а месяц спустя, 20 апреля, была объявлена война Австрии, или, если быть точным, “королю Венгрии и Богемии”.

Таков все еще был официальный титул племянника Марии-Антуанетты, который, хотя и стал наследником империи, еще не был коронован императором. Была надежда ограничить войну этим монархом, и, действительно, немецкие принцы империи не присоединились к нему (ландграф Гессен-Кассельский был исключением). Но единственная немецкая держава, которая имела наибольшее значение, королевство Пруссия, которое Дюмурье особенно надеялся сохранить нейтралитетом, объединила свои силы с Австрией. Королевские письма сделали свое дело.

В этот критический момент французские вооруженные силы и французские опорные пункты были в самом худшем состоянии. Дисциплина в армии была плачевной. Регулярные солдаты старого *режима* потеряли от шести до девяти тысяч офицеров в результате эмиграции и смешались не лучше, чем вода с маслом, с революционными добровольцами, которые были призваны (в количестве более двухсот батальонов) в ряды армии; более того, эти добровольческие батальоны были по большей части плохо обеспечены, намного ниже своего уровня, некоторые существовали только на бумаге; ни один из них не был обучен так, как следует обучать солдат. В более упорядоченное время, когда указы правительства соответствовали реальности, границу удерживали бы четыреста тысяч человек; такая цифра была в расчетах. Как бы то ни было, от швейцарских гор до Ла-Манша французы могли рассчитывать не более чем на *одну пятую* от этого числа. Только восемьдесят тысяч были вооружены. Вся прусская армия, не считая ее союзников, почти втрое превосходила численность этих дезорганизованных и недостаточных сил.

Паника, смешная и трагическая одновременно, положила начало кампании с французской стороны. Король воспользовался этим, чтобы отправить в отставку свое жирондистское министерство и сформировать реакционное правительство. Парламент ответил мерами, бесполезными для ведения войны и предназначенными только для того, чтобы вывести из себя корону, которая предавала нацию. Он приказал распустить королевскую гвардию, разбить лагерь революционных федералов за пределами Парижа, вывезти православных священников; преследуя решимость двора оказать сопротивление Собранию и дожидаться победоносных союзников, Людовик наложил вето на последние два указа. Лафайет, который теперь командовал армией центра со своей штаб-квартирой в Седане, прямо на пути вторжения, заявил за короля.

Если бы в этот момент армии Австрии и Пруссии двигались быстро, Революции пришел бы конец. Как бы то ни было, их мобилизация была медленной, а марш-бросок, хотя и точный, неторопливым. Это дало время населению Парижа провести демонстрацию против дворца и королевской семьи 20 июня. Только в первых числах августа основные силы объединенных монархов под командованием главнокомандующего герцога Брауншвейгского (который имел репутацию лучшего полководца своего времени) выступили в поход на Париж. Только 23 августа захватчики захватили первый французский пограничный город Лонгвий.

Между тем две очень важные вещи придали французам, несмотря на вопиющую недостаточность их вооруженных сил, остроту чувств, которая в какой-то мере восполнила эту недостаточность. Во-первых, третья годовщина падения Бастилии, 14 июля, созвала в Париж делегации из всех провинций, многие из которых были вооружены; это придало национальному чувству единства. Во-вторых, Брауншвейг выпустил из Кобленца, который был его базой, 25 июля того же месяца манифест, который был известен в Париже тремя днями позже и который (хотя некоторые современные историки ставят это под сомнение), несомненно, подогрел революционное мнение.

Этот манифест требовал от имени союзной армии полного восстановления старого *режима*, заявлял, что относится к французам и их новым властям как к мятежникам, подлежащим военной казни, и содержал пункт особой серьезности, который вызвал немедленную и раздраженную реакцию Парижа. Авторство этого пункта принадлежало Марии Антуанетте, и в нем содержалась угроза, что в случае нападения на дворец столица будет предана военным казням и тотальной подрывной деятельности.

Два дня спустя федералы из Марселя, представители среднего класса, выдающиеся граждане, хотя и всего лишь любители военного дела и малочисленные, вошли маршем в город. Их маршевая песня стала известной под названием “Марсельеза”. Они совершили удивительный подвиг - пересекли Францию, таща за собой пушки, со скоростью восемнадцать миль в день, в разгар жаркого лета, почти месяц подряд. В истории войн нет аналогов подобным усилиям, и мнение современников не преувеличивало, когда они видели в Марсельском батальоне центр грядущей битвы.

Столкновение между дворцом и населением усилилось утром 10 августа. Дворец удерживало около шести тысяч человек,^[3] из которых около тысячи ста были постоянными сотрудниками Швейцарской гвардии. Дворец (Тюильри) был или должен был быть неприступен. Мы можем быть уверены, что народная атака была бы отбита, если бы связь между Тюильри и Лувром на юге была должным образом перерезана. Настил в этом месте действительно был снят на некоторое расстояние, но либо брешь была недостаточно широкой, либо пост недостаточно охранялся; население и федералы, сильно разбитые в своей главной атаке на длинный фасад дворца, преуспели в обходе его фланга, где он примыкал к Лувру; таким образом, они окружили анфилады комнат и полностью положили конец сопротивлению его гарнизона.

Тем временем король и королева, дофин и его младшая сестра вместе с другими членами королевской семьи укрылись во время драки в зале парламента.

После победы народа их судьба была обсуждена и решена; они были заключены в башню Тампля, средневековую крепость, все еще стоявшую на северо-востоке Парижа, и хотя монархия еще не была формально отменена, самые крайние настроения, которые тогда содержала Революция, и самые энергичные заняли место старой исполнительной власти во главе с Дантоном. Вместе с ними в резиденции правительства появился дух военных действий, его презрение к формам и быстрое принятие решений. Известные сообщники сторонников придворного сопротивления и союза с захватчиками были арестованы сотнями. Набор добровольцев, уже вызвавший энтузиазм по всей Франции, был поддержан новой энергией официальной помощи, и революция сразу же покинула все свои старые причалы, вступив в крайнюю фазу. В тот же момент 19 августа была пересечена граница и вторгнута на территорию страны.

Возможно, что задержка пруссаков до этого момента была рассчитана, поскольку положение во Франции было сложным, и их решение о сражении было принято с опозданием. Похоже, именно известие о падении дворца решило их судьбу. Место, как и дата этого серьезного события, заслуживает большей известности, чем оно есть на самом деле. Брауншвейг коснулся того, что тогда было французской землей, в том маленьком треугольнике, где сейчас встречаются немецкая и французская Лотарингия и Люксембург. Деревня называется Реданж: оттуда привилегированные представители Европы отправились в Париж и уничтожили демократию. Первая задача занимала их целых двадцать два года, последней они заняты до сих пор.

Те силы, которые французы могли направить против Брауншвейга, были презрительно отброшены в сторону. Четырьмя днями позже он, как мы видели, взял пограничную крепость Лонгви; через неделю он был перед Верденом.

У Вердена не было ни малейшего шанса на сопротивление, ни гарнизона, который можно было бы назвать гарнизоном, ни возможности для обороны. Весть о том, что она должна

пасть, достигла Парижа утром роковой даты, 2 сентября; после ее падения ничто не будет отделять Париж от столицы; и с этого момента психологический эффект войны полностью меняет всю природу революции.

V

От вторжения в сентябре 1792 года до создания Комитета общественной безопасности в апреле 1793 года.

Можно сказать, что пятая фаза Французской революции началась с этих первых дней сентября 1792 года, когда известие об успешном вторжении сошло с ума Париж, и когда революционная исполнительная власть, созданная на руинах старой мертвой монархии и по ее образу и подобию, твердо стояла в седле, вплоть до учреждения семь месяцев спустя еще более монархического “Комитета общественного спасения”. И эти семь месяцев можно охарактеризовать следующим образом: —

Это был период, в течение которого предпринимались попытки вести революционную войну против правительств Европы на демократических принципах. Попытка провалилась. На смену дисциплине, пониманию и предвидению пришел растущий и интенсивный энтузиазм момента, от которого зависела победа. Чистый идеал фракции жирондистов с образцовой республикой, которую они надеялись установить, оказался совершенно недостаточным для ведения войны; и чтобы спасти нацию от иностранного завоевания и великий демократический эксперимент Революции от катастрофы, было необходимо, чтобы военная и дисциплинированная сторона французов, со всей тиранией, сопровождающей этот аспект их национального гения, предприняла завершение авантюры.

Этот период начинается так называемыми Сентябрьскими массовыми убийствами. На предыдущей странице я сказал, что “известные сообщники и сторонники союза двора с захватчиками были арестованы сотнями” после падения дворца и установления революционной исполнительной власти во главе с Дантоном.

Эти заключенные, скопившиеся в тюрьмах города, были убиты до тысячи ста человек небольшой, но организованной бандой убийц в те дни, когда ожидалось известия о падении Вердена, и они достигли столицы. Такое преступление потрясло общественное сознание Европы и французский народ. Его никогда не следует путать ни с судебными и военными актами террора, ни с репрессиями, предпринятыми против мятежников, ни с грубыми проявлениями насилия толпы; ибо, хотя на некоторых первичных собраниях были проголосованы за немедленную казнь тех, кто перешел на сторону врагов страны, сам акт был механическим, обдуманым и добровольным выбором нескольких решительных людей. Следовательно, у него был свой характер, и этот характер выделял его среди современников так, как он должен выделяться у нас: это было убийство.

Пленники были безоружны — более того, хотя они и были предателями, на самом деле они не брали в руки оружия; большинство тех, кто отдавал приказы об их уничтожении, были вдохновлены простой ненавистью. Те, кто отдал этот приказ, были небольшим комитетом, действовавшим спонтанно, и Марат был их главой.[\[4\]](#)

Именно под впечатлением этих массовых убийств депутаты нового, или третьего, Собрания Революции, известного в истории как *Конвент*, собрались в Париже.

Этому парламенту предстояло стать сначала фактической, а затем номинальной властью во Франции в течение трех последующих критических лет; лет, которые стали военным спасением Революции и, следовательно, позволили провести демократический эксперимент в современной Европе.

Именно 20 сентября Конвент собрался на свое первое заседание, которое проходило во дворце Тюильри. В течение нескольких часов того дня, пока избирались официальные лица, спикер и остальные, французская армия на границе, к собственному удивлению и к удивлению ее противника, сумела сдержать под канонадой *Вальми* захватчиков-союзников.

На следующий день новое Собрание собралось в школе верховой езды (Манеже), где также заседали два предыдущих Собрания. Он уже собирался расходиться после заседания того дня, когда один из членов предложил отменить Королевскую власть; Конвент единогласно проголосовал за реформу и разошелся.

На третий день, 22 сентября, было постановлено, что отныне в государственных документах должна стоять дата "Первый год Республики"; но торжественности по этому поводу не было; идея "Без короля" была новой и неопробованной; пока не было энтузиазма ни к чему, кроме монархической формы правления. Только после того, как название "Республика" стало означать в умах людей политическую свободу, а также стало, так сказать, флагом победоносной национальной обороны, название Республики приобрело в нашей Европе и во Франции ту сильную и почти религиозную силу, которую оно с тех пор сохранило.

Проверка, оказанная захватчикам в Вальми (опять же к удивлению как солдат, так и государственных деятелей!), определила ход кампании. Болезни и трудности с коммуникациями сделали дальнейшее продвижение захватчиков невозможным. Они вели переговоры и добились беспрепятственного отступления, а несколько недель спустя вновь пересекли границу.

Тем временем в Париже началась великая ссора между муниципальным и национальным правительством, которой, поскольку Париж был более решительным, более революционным и, главное, более воинственным по настроению, чем парламент, было суждено закончиться победой столицы. Жирондисты все еще выступали в Ассамблее за идеальную республику; республику, максимально ограничивающую личную свободу своих граждан и автономию местного самоуправления в каждом городе и приходе; но этому идеалу, гораздо более национальному, противостояли революционные экстремисты, называемые в Конвенте "Горой", которые пользовались поддержкой муниципального правительства Парижа (известного как "Коммуна") и были способны одержать французские победы на поле боя. Они олицетворяли старую французскую и солдатскую концепцию сильного центрального правительства, с помощью которого можно было вести борьбу не на жизнь, а на смерть, в которую теперь вступила Революция: поэтому они победили.

Всю ту осень ссора между Францией и Европой оставалась сомнительной, ибо, хотя армии Республики под командованием Дюмуре выиграла битву при Жемапе, перешли северо-восточную границу и оккупировали Бельгию, в то время как на юге другая французская армия дошла до самого Рейна, сам Дюмуре достаточно хорошо понимал, что кампания, предпринятая просто на энтузиазме, с войсками столь разношерстными по характеру, многие из которых столь недисциплинированы, закончится фатально. Но до наступления нового года общественное мнение не было проинструктировано по этому поводу, и война за независимость, казалось, внезапно перешла от защиты национальной территории к

крестовому походу против королей и аристократических правительств Европы. Энтузиазм, и только энтузиазм, был силой момента. Жестокие декреты, такие как Декларация братства (которая провозглашала союз со всеми народами, борющимися за свободу) и открытие Шельды (прямое нарушение договорных прав, партнером которых Англия, среди других наций, была), были характерны для того момента; главным из всех актов было то, что король предстал перед судом парламента.

4 января 1793 года (король уже составил свою волю на Рождество) главный оратор жирондистов внес предложение о передаче приговора народу для утверждения. Страх перед гражданской войной больше, чем что-либо другое, препятствовал осуществлению этого справедливого предложения. 15 января парламенту был задан вопрос, “был ли король виновен в заговоре против общественной свободы и в покушении на общую безопасность государства”. Многие отсутствовали, и многие воздержались: никто не ответил отрицательно; следовательно, технически осуждение Людовика было почти единогласным.

Голосование по этим серьезным вопросам было тем, что французы называют “номинальным”: то есть каждый член был вызван “поименно”, чтобы отдать свой голос, а также выразить мнение, если он того пожелает. Вторая попытка обратиться к народу была отклонена 424 голосами против 283. По третьему вопросу, который был решающим, о наказании, проголосовал только 721 человек, и из них абсолютное большинство из 53 высказались за смертную казнь против меньшинства, некоторые из которых проголосовали за смертную казнь “условно” — то есть не за смертную казнь вообще — или проголосовали против нее. Передышка была упущена большинством в 70 человек, и 21 января 1793 года, около десяти утра, Людовик XVI был гильотинирован.

Затем последовала война с Англией, Голландией и Испанией; и почти в этот момент начался неизбежный отток военной силы. Ибо французское наступление вплоть до Рейна, в Нидерландах и Пфальце, не имело постоянной военной базы, от которой можно было бы зависеть. Дюмуре начал отступать через месяц после казни короля и 18 марта потерпел решающее поражение при Нервиндене. Именно это отступление, за которым последовала катастрофа, решило судьбу попытки жирондистов основать идеальную республику, свободную на индивидуальной основе и на местном уровне. Еще до того, как произошла битва при Нервиндене, Дантон, уже не министр, но все еще самый влиятельный оратор в Конвенте, предложил создать специальный суд для рассмотрения дел о государственной измене — суд, который позже был назван “Революционным трибуналом”. Новости о Нервиндене подготовили почву для более решительных мер и какой-либо исключительной формы правления; специальный парламентский комитет, уже сформированный для контроля за министрами, был усилен, когда 5 апреля, после некоторых переговоров и сомнений, Дюмуре, отчаявшись в армиях Республики, решил объединить свои силы с захватчиками и восстановить порядок. Его солдаты отказались следовать за ним; его измена была очевидна; на следующий день Конвент назначил первый “Комитет общественной безопасности”, который с его преемником с тем же названием стал отныне подлинным деспотическим и военным центром революционного правительства. Ему была предоставлена секретность при обсуждении, фактический, хотя и не теоретический контроль министерства, денежные суммы для секретных расходов и, одним словом, весь механизм, необходимый военному руководству. Появился *диктатор* Руссо, великий ум, провозгласивший *Социальный* контракт евангелием Революции, также предвидел один из необходимых органов демократии в ее тяжелейшем испытании; его теория была доказана необходимой и истинной на деле. Девять членов сформировали этот первый Комитет:

Барер, которого можно назвать его клерком, Дантон, его гений, и Камбон, его финансист, были ведущими именами.

С созданием этого поистине национального и традиционного оружия, одна форма которого была новой, но сила и методы которого были присущи всем военным традициям Галлии, революция была спасена. Теперь нам предстоит главным образом проследить за тем, каким образом Комитет управлял делами во время великого кризиса войны. Эта шестая фаза длится почти шестнадцать месяцев, с начала апреля 1793 года по 28 июля 1794 года, и эти шестнадцать месяцев удобно разделить на два периода.

VI

С апреля 1793 по июль 1794 года.

Первым разделом этого периода, который заканчивается в разгар лета 1793 года, является постепенное укрепление Комитета как нового органа правительства и угроза уничтожения, которой он подвергается вместе с нацией, которой он управляет, от рук союзной Европы.

Второй период включает часть августа и всю оставшуюся часть 1793 года, а также первые семь месяцев 1794 года, в течение которых Комитет добивается успеха в своих военных усилиях, нация спасена, и удивительно драматичным и странно несущественным образом военный режим террора внезапно прекращается.

Первым шагом в укреплении власти Комитета было освобождение Парижской коммуны и управляемого ею населения от жирондистов.

Рассматриваемое просто с точки зрения внутренней политики (на которой сосредоточено большинство историков), нападение населения Парижа и его Коммуны на парламент кажется не более чем окончанием долгого спора между жирондистами с их идеальной федеративной республикой и столицей с ее стремлением к сильному централизованному правительству. Но в свете военной ситуации, о которой Комитет общественной безопасности был прекрасно осведомлен и контролировать которую было их обязанностью, можно рассказать совсем другую историю.

Когда начались поражения, парламент проголосовал за набор в армию трехсот тысяч человек. Это было простое голосование, которое принесло очень мало результатов: недостаточно численно и еще меньше морально, поскольку тип войск, набранных в рамках системы денежных конфискации и закупленных заменителей, был полностью не под силу задаче великой войны.

Этот закон о воинской повинности был принят 24 февраля. Дата его первого применения во многих деревнях была назначена на 10 марта. Вся эта страна, граничащая с устьем Луары на севере и юге, страна, чьи географические и политические особенности не должны нас здесь задерживать, но которая все еще удивительно индивидуальна, начала сопротивляться. Конечно, декрет был непопулярен повсюду, поскольку военная служба везде непопулярна среди оседлого населения. Но здесь у него не было союзника, поскольку Революция и все ее дела также были крайне непопулярны. Ошибка Гражданского устройства духовенства была мощным фактором этого восстания. Благочестие и ортодоксальность этого района были и остаются исключительными. Некоторое подобное сопротивление в каком-то подобном квартале, возможно, ожидалось: чего не ожидалось, так это его военного успеха.

За четыре дня до поражения при самом Неервиндене и через четыре дня после указа о воинской повинности в деревнях толпа крестьян овладела городом Шоле в южной части этого округа, Вандея. За три дня до того, как был сформирован Комитет общественной безопасности, повстанцы нанесли поражение регулярным войскам при Машкуле, подвергли пыткам и казнили своих пленных. Апрель месяц, когда Комитет общественной безопасности впервые сел в седло, ознаменовался полным успехом повстанцев. Силы, посланные против них, были бесполезны, поскольку все военные усилия были сосредоточены на границе. Большинство из них даже не были тем, что мы могли бы назвать ополчением. Небольшой отряд регулярных войск должен был выступить из Орлеана, но прежде чем они смогли атаковать, Туар, Партенэ и Фонтенэ попали во власть повстанцев. Эти посты образовывали передовой треугольник прямо на территории Республики, находящейся под постоянным управлением: большой город Нант был обойден с флангов. Даже в такой момент жирондисты все еще цеплялись за свой идеал: индивидуально свободную и локально автономную республику. Неудивительно, что настроение Парижа отказалось поддержать их или их влияние на парламент, и мы можем легко понять, как новый Комитет поддержал Париж в его восстании.

Это восстание произошло 31 мая. Силы, находящиеся под командованием столицы, не вышли на марш, но депутация парижских секций потребовала ареста ведущих жирондистов. Толпа захватила зал для дебатов. Комитет общественной безопасности делал вид, что идет на компромисс между Парижем и парламентом, но недавно проанализированный документ убедительно доказывает, что они сочувствовали парижскому теракту. Они действительно предлагали предоставить вооруженные силы Парижа в распоряжение Ассамблеи, то есть в их собственные руки.

В тот день ничего существенного сделано не было, но парламент оказался бессильным перед лицом столицы. На границе началось наступление захватчиков. Великая барьерная крепость Валансьен полагалась в своей обороне на соседний лагерь Фамар. Гарнизон этого лагеря был вынужден эвакуироваться из-за наступления союзной армии 23 мая, и хотя должно было пройти несколько дней, прежде чем тяжелая артиллерия австрийцев могла быть введена в действие, Валансьен отныне находился во власти осаждающих. Были новости о том, что Вандея была не единственным восстанием. Лион восстал тремя днями ранее. Там шли тяжелые бои. Роялисты и жирондисты объединились, захватили ратушу и установили мятежное и избранное муниципальное правительство. Такие новости, поступившие сразу после 31 мая, побудили столицу к активным действиям. На этот раз парижские силы фактически выступили маршем против парламента. Требование об отстранении от должности двадцати двух названных депутатов-жирондистов было выдвинуто с оружием в руках. Много было написано, и лучшими историками, для того, чтобы превратить этот успешный день в простую победу Парижской коммуны над парламентом. Хотя Барер и Дантон оба публично протестовали, на самом деле именно их политика победила вместе с Парижем. К двадцати двум именам, которые перечислили силы Парижа, были добавлены семь. Великие жирондисты, Бриссо, Верньо и остальные, на самом деле не были заключены в тюрьму, они считались "находящимися под арестом в своих домах". Но моральный авторитет Конвента как административной машины, а не как законодательной, был подорван в этот день, 2 июня 1793 года. Париж якобы победил, но хозяином, который был сильнее, чем когда-либо, и которому служил Париж, был Комитет общественной безопасности.

Этот первый Комитет общественной безопасности просуществовал до 10 июля. В разгар такой войны и такой внутренней борьбы Конвент проголосовал (по инициативе Комитета

общественного спасения) за знаменитую Конституцию 93-го года, этот главный документ демократии, который, словно в насмешку над ее собственным идеалом, с тех пор и по сей день остается не более чем написанным текстом. В этом будет заключаться всеобщее избирательное право, в этом ежегодный парламент, в этом референдум, в этом избираемая исполнительная власть — то, чего ни один парламент никогда не дал бы нам сегодня. Конституция была принята всего через три недели после успешного восстания в Париже. Еще через две недели, 10 июля, за первым из Комитетов общественной безопасности последовал его преемник.

Все это происходило, пока вандейцы наступали. Нант, действительно, выстоял против повстанцев, но, как мы вскоре увидим, республиканские войска еще не проявили себя хорошо. Восстание в Лионе набирало силу, и неделю спустя должны были казнить радикала Шалье. Марсель восстал. 10 июля Конвент вызвал в свою коллегия адвокатов Вестерманна, друга Дантона, который только что потерпел поражение от западных повстанцев.

Здесь уместно отметить один из тех небольших индивидуальных факторов, которые определяют судьбу государств. Дантон, руководитель всего этого первого движения к централизации, человек, совершивший 10 августа, который вел переговоры с пруссаками после Вальми, который определил и сформировал центральное правительство против жирондистской анархии, — потерпел крах. Его здоровье пошатнулось. Он был гигантом телом, но на данный момент он устал.

Было предложено обновить состав его Комитета: он был исключен из нового состава. Барер остался, чтобы связать старый Комитет с новым. Жестокий сектантский пастор-кальвинист Жанбон Сент-Андре, один из самых храбрых и извращенных революционеров; Кутон, друг Робеспьера; Сен-Жюст, еще более близкий друг (молодой, красивый, чрезвычайно мужественный и решительный человек), вошли вместе с другими в число девяти человек в новый Комитет. Семнадцать дней спустя, 27 июля, Робеспьер заменил одного из избранных таким образом второстепенных членов. Жить ему оставалось ровно год, и сейчас самое время представить читателю суть его карьеры.

Робеспьер был в этот момент главной фигурой в глазах толпы и вскоре должен был стать главной революционной фигурой в глазах Европы: это первый пункт. Вторым не менее важен и гораздо менее общепризнан. Он не был и никогда не был предназначен стать главной силой в революционном правительстве.

Что касается первого пункта, Робеспьер занял это положение благодаря следующему сочетанию обстоятельств: во-первых, единственный из революционных деятелей, он с самого начала постоянно находился на виду у общественности; он был членом первого из всех парламентов и выступал в этом парламенте в первый месяц его сессий. Хотя в то время он был малоизвестен в Версале, он уже был хорошо известен в своей провинции и родном городе Аррас.

Во-вторых, это его положение в глазах общественности сохранялось непрерывно, и его положение и репутация увеличивались месяц за месяцем в течение целых четырех лет. На политической арене больше не осталось никого, о ком можно было бы это сказать. Все старые реакционеры ушли, все умеренные люди ушли; все деятели 1793 года были новыми фигурами — за исключением Робеспьера; и этим продолжающимся и неуклонным ростом славы он был обязан:

В-третьих, его бросающаяся в глаза и яркая искренность. Он был более привержен демократической вере в *Социальный контраст*, чем любой другой человек своего времени: он никогда не отступал ни от одного ее пункта. Нет лучшего средства для непреходящей славы, чем выражение реальных убеждений. Более того —

В-четвертых, его речи в точности отражали мнения его аудитории, и повторяли их с ясностью, которой его аудитория не могла бы обладать. Обладал ли он истинным красноречием или нет, до сих пор обсуждается теми, кто разбирается во французской литературе. Но несомненно, что в свое время он обладал всеми качествами великого оратора, хотя его манеры были точными и холодными.

В-пятых, он обладал последовательным сводом доктрин: то есть он был не только убежден в общедемократическом кредо, которого придерживались его современники, и он не только придерживался его непоколебимо, но и мог дополнить его системой морали и даже чем-то, что называлось религией.

В-шестых, у него была, как всегда могут, но не часто делают подобные персонажи, группа глубоко преданных личных почитателей и сторонников, главным из которых был молодой и великолепно отважный Сен-Жюст.

Именно сочетание всех этих факторов, говорю я, сделало Робеспьера главной личностью в глазах общественности, когда 27 июля 1793 года он вошел в Комитет общественного спасения.

Теперь следует отметить, что, в отличие от своего последователя Сен-Жюста и в высшей степени непохожего на Дантона, Робеспьер не обладал ни одним из тех военных качеств, без которых невозможно нести ответственность за управление военной нацией — особенно если эта нация находится в состоянии войны: и такой войны! Комитет общественного спасения был цезарем революционной Франции. Робеспьер как член этого цезаря был безнадежен. Его популярность была преимуществом для его коллег по Комитету, но его концепция действий на границах была расплывчатой, личной и тщетной. Его стремление к лидерству, если оно и существовало, было подчинено его стремлению стать спасителем своего народа и его демократического эксперимента, и он не имел представления о тех функциях руководства, с помощью которых оно может координировать детали и навязывать план действий. Таким образом, Робеспьер во время каждого кризиса последнего года, который мы собираемся изучить, уступал своим коллегам, никогда не производил на них впечатления и никогда не руководил ими, и все же (в этом заключалась ирония его судьбы) его соотечественники и воюющие правительства Европы считали его хозяином над всеми ними.

Первые недели после его появления в Комитете общественного спасения были критическими неделями всего революционного движения. Деспотические действия Парижа (которые, как я пришел к выводу, тайно поддерживаются Комитетом)^[5] спровоцировала восстание со всех сторон в провинциях. Нормандия протестовала, и 13 июля нормандская девушка зарезала Марата. Лион, как мы видели, несколько недель находился в состоянии восстания; Марсель восстал в первую неделю июня, Бордо и весь департамент Жиронда, конечно, восстали, поскольку на карту были поставлены их люди. Позже Тулон, крупнейшая военно-морская база Франции, восстал: в этом порту было сформировано реакционное муниципальное провинциальное правительство, маленький мальчик, заточенный в Тампле, наследник королевства, был провозглашен под титулом Людовика XVII, и еще до конца августа английский и испанский флоты были допущены в гавань, а превосходный иностранный гарнизон защищал город от национального правительства.

Тем временем союзники на бельгийской границе делали все, что могли, беря крепость за крепостью, и пока Майнс падал на Рейне, Валансьен и Конде капитулировали на северо-восточной границе, а часть армии союзников выступила на осаду Дюнкерка. Восстание в Вандее, вспыхнувшее в начале года, хотя и было сдержано сопротивлением Нанта, все же имело успех на местах.

Успешная попытка была предпринята в августе месяце. Карно, который вскоре доказал военный гений Революции, вошел в Комитет общественного спасения. 23-го числа того же месяца в результате голосования в парламенте стране был навязан настоящий налог, сильно отличающийся от тщетной и недостаточно применяемой попытки весны. Это был набор людей, транспортных средств, животных и провианта, и вскоре в его состав вошло около полумиллиона солдат. С сентябрем ситуация изменилась, и первая победа в этом кризисном периоде борьбы, Хундшут, принесла Дюнкерку облегчение в первые дни сентября. К середине октября вторая и решающая победа, одержанная Ватиньи, принесла Мобежу облегчение. Лион был взят, Нормандия умиротворена задолго до этого; к концу года Тулон был вновь оккупирован, и в то же время последние сплоченные силы вандейцев были уничтожены.

Но между тем кризис имел двойной эффект, моральный и материальный. Моральный эффект был своего рода национальным безумием, в ходе которого предлагались самые крайние меры, и многие из них осуществлялись с тем, что можно назвать творческой дерзостью. Сам календарь был изменен, сама неделя отменена, месяцы переименованы и скорректированы. Такой акт в достаточной степени символизирует ментальный настрой революционеров. Они были настроены на новую землю.

За этим последовало последнее и самое жестокое нападение на то, что считалось последними остатками католицизма в стране, отвратительное преследование духовенства, в ходе которого бесчисленное количество священников погибло в тяготах транспортировки или от насилия. Репрессии против повстанцев варьировались от самой ужасной жестокости до явно безумной, худшие примеры которой имели место в Аррасе и Нанте.

Во всей этой суматохе руководящий центр страны, Комитет общественной безопасности, не только сохранил свою голову, но и использовал огромные силы шторма для достижения военного успеха в рамках системы, известной как "Террор", которая была для них не более чем военным положением и двигателем их деспотического контроля. Из двух с лишним тысяч человек, которые предстали перед революционным трибуналом и были казнены в Париже, подавляющее большинство составляли те, кого Комитет общественной безопасности считал препятствующими их военной политике; и большинство из них были мужчинами или женщинами, нарушившими какую-то конкретную часть военного кодекса, установленного правительством. Некоторые из них были генералами, потерпевшими неудачу или подозревавшимися в государственной измене; а некоторые, среди наиболее заметных, были политиками, которые пытались положить конец столь абсолютному методу ведения войны.

Из них величайшим был Дантон. Еще до конца 1793 года он начал протестовать против системы террора; возможно, он верил, что страна теперь в военном смысле в безопасности и больше не нуждается в подобных строгостях. Но Комитет с этим не согласился, и при наличии доказательств мы должны были бы предположить, что Карно, в частности, решил, что такое противодействие должно быть прекращено. Дантон и его коллеги, включая Демулена, журналиста времен революции и главного публициста, пропагандировавшего июльские дни 1789 года, были казнены в первую неделю апреля 1794 года.

Параллельно с этим действием со стороны Комитета произошло их внезапное нападение на людей другой крайности: мужчин, чье насилие, чрезмерное даже для того времени, угрожало спровоцировать реакцию. Эбер был главным из них, представителем Парижской коммуны; и он тоже погиб.

Тем временем Комитет допустил другие преследования и другие смерти, в частности королевы. Разумная политика потребовала бы, чтобы ее держали заложницей: она была принесена в жертву жажде мести, и ее голова пала в тот же день, когда была выиграна решающая битва при Ватиньи. Позже сестра короля, мадам Елизавета, была принесена в жертву тем же страстям, и вместе с ней следует причислить определенную долю жертв, уничтожение которых не могло быть частью плана Комитета и исходило исключительно из мотивов древней ненависти, хотя в случае многих из них, которые были аристократического происхождения или пользовались влиянием благодаря своему богатству, нелегко определить, насколько возможная интрига с иностранцем не привела их на эшафот.

В последние четыре месяца периода, который мы рассматриваем в этой книге, по апрель, то есть после казни Дантона, по май и июнь и почти до конца июля Робеспьер занимает особое место. Его собственные причуды или доктрины допускаются в Уставе Революции, в частности, его религиозные догмы о личном Боге и бессмертии души. Более того, в честь таких событий устраивается публичное торжество, и он является на нем первосвященником. Интенсивность идолопоклонства, которому он подвергался, никогда не была большей; число тех, кто разделял его, возможно, уменьшалось. Несомненно, что он не осознавал, насколько ослабла поддержка его огромной популярности. Несомненно, что он видел только растущий энтузиазм своих непосредственных последователей. Комитет по-прежнему использовал его в качестве своего инструмента — особенно для усиления террора в июне, но, возможно, впервые за все эти месяцы он начал пытаться завоевать какой-то авторитет внутри Комитета: мы знаем, например, что он поссорился с Карно, который, несомненно, был самым сильным человеком в нем.

В прошлом они позволяли ему проводить частную политику там, где это не мешало общему военному плану. Он был в значительной степени ответственен, не из-за своего собственного суждения, а из-за своего желания высказать мнение, за суд и казнь королевы. Он тянул время, когда Дантон начинал свою кампанию против террора в конце 1793 года, и то, что он сначала допустил казнь Дантона, а затем помог ей, является несмываемым пятном на его памяти и его заслуженной репутации честности и искренности. Из немногих имеющих у нас указаний мы можем предположить, что он протестовал против этого на тайных совещаниях Комитета, но он уступил, и более того, поскольку Сен-Жюст желал быть обвинителем Дантона, он снабдил Сен-Жюста заметками против Дантона. Хотя именно Комитет был морально ответствен за крайнее распространение Террора, продолжавшегося в течение тех последних нескольких месяцев, Робеспьер имел неразумие выступать в качестве их инструмента, составлять их последние декреты и, считая Террор народным, публично поддерживать его. Именно это погубило его. Экстремисты-террористы, те, кто еще не насытился жаждой мести и кто ненавидел и боялся популярного кумира, решили свергнуть его.

Масса тех, кто мог стать следующими жертвами и кто, ничего не зная о тайных советах Комитета, воображал Робеспьера тем, за кого он себя выдавал, хозяином Комитета, жаждали его смещения. В его вымышленном персонаже предполагаемой главной власти в государстве все растущее отвращение к Террору было направлено против его личности.

По совпадению с такими силами, Комитет, в работу которого он, опираясь на свое общественное положение, начал вмешиваться и, вероятно, сдерживать их военные действия (он, конечно, безуспешно пытался спасти определенные жизни вопреки решению своих коллег), решил избавиться от него. Кризис разразился на четвертой неделе июля, или, по тогдашнему революционному календарю, на второй неделе Термидора. Он был свергнут в парламенте, активный и хитроумный заговор организовал все скрытые силы оппозиции ему; он все еще так верил в свою популярность, что происходящее сбивало его с толку, и его все еще так любили и так горячо поддерживали, что, когда на том же заседании он был объявлен вне закона, его брат пожертвовал собой, чтобы последовать за ним. Сен-Жюсту вынесли приговор, и его строгий друг Леба добровольно принял ту же участь.

То, что последовало за этим, поначалу было неразберихой во власти; посаженный под арест начальник тюрьмы, в которую был отправлен Робеспьер, отказался принять его. Он и его сторонники встретились в Отель-де-Виль после наступления темноты, и была предпринята попытка спровоцировать восстание. Существует много путаных рассказов о том, что

немедленно последовало в полночь, но две вещи очевидны: население отказалось восстать в поддержку Робеспьера, и парламент, за которым стоял Комитет, организовал вооруженные силы, которые легко одержали верх над зарождающимся восстанием в Ратуше. Вполне вероятно, что подпись Робеспьера была необходима для провозглашения восстания: несомненно, что он не завершил его, и предполагается, что он не стал бы действовать вопреки всем своим собственным теориям народного суверенитета и общей воли. Пока он сидел там с лежащим перед ним документом и его подписью, все еще незаконченной, вооруженные силы парламента ворвались в комнату, парень по имени Мерда из-за двери направил пистолет на Робеспьера и выстрелил ему в челюсть. (Доказательства в пользу этой версии неопровержимы.) Из его товарищей некоторые бежали и были схвачены, некоторые покончили с собой, большинство было арестовано. На следующий день, 10 Термидора, или 28 июля 1794 года, в половине восьмого вечера Робеспьер и еще двадцать один человек были гильотинированы.

Ирония истории заключалась бы в том, что падение этого человека, произошедшее главным образом из-за его вмешательства в систему Террора, подорвало всю моральную силу, на которой зиждился сам Террор; ибо люди вообразили, что Террор был его работой, и что, когда он ушел, ему не осталось оправдания. Началась реакция, которая делает эту дату истинным сроком в той восходящей серии революционных усилий, которые к тому времени обсудили все аспекты демократии, преуспели в военной защите этого эксперимента и заложили, хотя пока только на словах, основу современного государства.

СНОСКИ:

[3] Следует предупредить читателя, что эти цифры вызывают горячие споры. Последние полномочия разрешают не более 4000 человек. После полного ознакомления с доказательствами я могу сократить гарнизон не менее чем до 6000 человек.

[4] Легенда о том, что Дантон был связан с массовыми убийствами, основана на недостаточном историческом фундаменте. Есть несколько историй из вторых или третьих рук, подтверждающих это, но главным положительным доказательством, приведенным в этой связи, является бумага с печатью министра юстиции, которая, как убедительно доказал доктор Робине, была взята подчиненным без ведома или соучастия Дантона. На гораздо более глупую историю о том, что федералы Марселя принимали участие в массовых убийствах, современному студенту не нужно обращать внимания; она была уничтожена по частям и на основании неопровержимых документальных свидетельств в монографии Поллио и Марселя.

[5] На стр. 403 моей монографии о Дантоне (Nisbet & Co., 1899) читатель найдет неопубликованный отчет Комитета общественного спасения, составленный непосредственно перед разгромом жирондистов 31 мая. На мой взгляд, это является убедительным доказательством, рассматриваемым в свете других их действий, решимости Комитета встать на сторону Парижа.

V

ВОЕННЫЙ АСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ

ТнеРеволюция никогда бы не достигла своей цели: напротив, она привела бы к не менее чем насильственной реакции против тех принципов, которые созревали до того, как она разразилась, и которые она привела к триумфу, если бы армии революционной Франции не оказались успешными на поле боя; но осознание этого простого исторического факта, я имею в виду успех революционных армий, к сожалению, дело непростое.

Мы все знаем, что на самом деле Революция в целом успешно навязала Европе свою точку зрения. Мы все знаем, что из этого успеха, как из зародыша, проистекало и продолжает проистекать современное общество. Но природа, причина и масштабы военного успеха, которые единственно сделали это возможным, широко игнорируются и еще более широко неправильно понимаются. Ни одно другое знаковое военное усилие, достигшее своей цели, в истории не заканчивалось военной катастрофой - однако так было в случае с революционными войнами. После двадцати лет наступления, в течение которых идеи Революции были посеяны по всей западной цивилизации и успели пустить корни, армии Революции наткнулись на огромную ловушку или грубую ошибку русской кампании; за этим последовало решительное поражение демократических армий под Лейпцигом, а превосходная стратегия кампании 1814 года, блестящий розыгрыш так называемого "Ста дней", только подчеркнули полноту очевидного провала. За этой виртуозной кампанией последовало первое отречение Наполеона, этот блестящий митинг закончился Ватерлоо и разгромом французской армии. Когда мы рассматриваем распространение греческой культуры по Востоку в результате параллельного военного триумфа Александра или завоевания Галлии римскими армиями под командованием Цезаря, мы сталкиваемся с политическими явлениями и политическим успехом, не более поразительным, чем успех Революции. Революция сделала мечом столько же, сколько когда-либо Александр или Цезарь, и столь же несомненно вызвала одно из великих преобразований в Европе. Но тот факт, что великая история может быть прочитана до конца поражения, тревожит разум ученика.

Опять же, этот элемент, фатальный для любого точного изучения военной истории, - вменение гражданских добродетелей и мотивов, - с фатальной легкостью проникает в сознание читателя, когда он изучает войны за независимость.

Он испытывает искушение приписать энтузиазму войск, более того, самому политическому движению, своего рода чудодейственную силу. Он склонен употреблять по отношению к революционным победам слово "неизбежный", которое, если когда-либо и применимо к разумным, волевым и сознательным действиям людей, то уж точно меньше всего применимо к людям, когда они действуют как солдаты.

Есть три момента, которые мы должны тщательно учитывать, когда рассматриваем военную историю Революции.

Во-первых, это удалось: революция, рассматриваемая как политический мотив ее армий, победила.

Во-вторых, он преуспел благодаря тем военным способностям и условиям, которые сопутствовали, но отнюдь не обязательно, твердым убеждениям и гражданскому энтузиазму того времени.

В-третьих, элемент случайности, который каждый мудрый и осмотрительный рассуждатель в значительной степени признает во всех военных делах, работал в пользу Революции в критические моменты первых войн.

Зафиксировав эти моменты и будучи готовыми вернуться к ним, когда мы оценим военную историю по достоинству, хорошо бы начать наше исследование с краткого рассказа этой истории в самых общих чертах. При этом необходимо будет осветить кое-какие моменты, которые уже рассматривались в этой книге, но это неизбежно, когда пишешь о военном аспекте любого движения, поскольку невозможно рассматривать этот аспект иначе, как как живую часть целого: настолько тесно война связана с национальной жизнью.

ОДИН

Когда Революция впервые вступила в действие, перспектива войны между Францией и любой другой великой державой того времени — Англией, Пруссией, Империей или, скажем, Россией, или даже Испанией — была такой перспективой, которая могла представляться в любое время на протяжении последних двух-трех поколений людей.

На протяжении почти ста лет люди привыкли рассматривать династические распри, поддерживаемые определенным типом армии, который я сейчас опишу.

Я назвал эти распри династическими; то есть они были в основном распрями между правящими домами Европы: были в основном мотивированы желанием каждого правящего дома приобрести большую территорию и доходы, и были ограничены решимостью всех правящих домов поддерживать в неприкосновенности определенные идеи, как, например, святость монархии, независимость отдельных государств и т.д. Хотя они были в основном династическими, но в той мере, в какой династия могла представлять единую нацию, они также были национальными. Английская олигархия была в этом отношении своеобразной и более национальной, чем любое европейское правительство того времени. Справедливо также сказать, что за российским деспотизмом в большинстве его военных авантур и во всем его духе экспансии стояло подсознательное согласие народа.

Тем не менее, какими бы национальными ни были войны предшествовавшего Революции времени, они велись как бы в рамках фиксированных идей, выйти за пределы которых не мечтал ни один полководец и ни один дипломат. У А, коронованного главы государства, были бы некоторые претензии к Б, коронованному главе другого государства, в отношении определенных территорий. С, коронованный глава или правительство третьего государства, оставался нейтральным или вступал в союз с любым из двух; если он и вступал в союз, то, как правило, с более слабым против более сильного, чтобы гарантировать себя от слишком большого усиления со стороны соперника. Или, опять же, вспыхнуло бы восстание против власти А в какой-нибудь части его владений; тогда Б, несколько неохотно (поскольку почти неограниченные права существующей исполнительной власти все еще были сильной догмой в умах людей), склонен был бы вступить в союз с мятежниками, чтобы уменьшить власть А.

Человеческим делам всегда очень сильно и надолго присущ характер спорта: интерес (по крайней мере, мужчин) к поведению человека всегда в значительной степени заключается в том, чтобы следить за соблюдением определенных правил и завоеванием определенных очков в соответствии с этими правилами. Поэтому мы должны остерегаться высмеивать военные действия столетия, предшествовавшего революции, под эпитетом "игры". Но в отношении этой войны верно, и совершенно справедливо, что она предпринимала ограниченные попытки ограниченным образом; она не предпринимала попыток каких—либо фундаментальных изменений в обществе; это не было открытой — по крайней мере, со времен Тридцатилетней войны - борьбой идей; она велась во имя известных и

ограниченных интересов ради известных и весьма ограниченных целей, а инструменты, с помощью которых она велась, были инструментами искусственными и отделенными от общей жизни наций.

Эти инструменты представляли собой то, что было названо "профессиональными" армиями. Этот термин очень недостаточен и, отчасти, вводит в заблуждение. Офицерами, возглавлявшими эти силы, были представители дворянства различных держав, с которыми были смешаны определенные авантюристы, не всегда благородной крови; и для большей части дворянства в большинстве европейских стран военная карьера была главным полем деятельности. Люди, которыми они руководили, не были ни крестьянством, ни рабочим классом, ни тем более гражданской силой, в которой оказался бы задействован средний класс: они были самыми бедными и наименее оседлыми, некоторые сказали бы, отбросами европейской жизни. За исключением кое—где мужчин - обычно очень молодых людей, которых привлекла легендарная романтика этого тяжелого, но славного ремесла, — и за исключением определенных формирований, которые массово и по приказу следовали за реликвиями феодальной власти, армии периода, непосредственно предшествовавшего революции, были армиями очень бедных людей, которые продали себя в своего рода рабство, часто захватывающее и даже авантюрное, но, при детальном рассмотрении, не то, что выбрал бы свободный человек. Мужчины были пойманы в силу экономической необходимости, путем мошенничества и другими способами, и однажды пойманные были задержаны. Нельзя было найти лучшего доказательства этого, чем варварская суровость наказаний, связанных с дезертирством или незначительными формами недисциплинированности. В таком виде они использовались в целях игры не только для того, чтобы сделать их пригодными орудиями войны, но и для того, чтобы сделать их приятными своим хозяевам. Строгая выправка, определенные излишества парадности и внешнего вида - все, что требуется в театре или в претенциозном домашнем хозяйстве, фигурирует в воинских уставах того времени.

Не следует думать, что я принижаю значение того великого периода между 1660 и 1789 годами, в течение которого военное искусство было наиболее тщательно продумано, традиции большинства наших великих европейских армий закрепились, а неизменные военные качества, которые мы унаследовали до сих пор, получили развитие. Люди, попавшие в ловушку в качестве рядовых, не могли не наслаждаться игрой, когда в нее играли активно, ибо мужчины европейского происхождения всегда будут наслаждаться игрой в войну; они прославлялись ее рассказами и воспоминаниями о ней; быть солдатом, даже в рабских условиях того времени, было достойным предметом гордости, и далее следует отметить, что крайности жестокости, обнаруживаемые при установлении их дисциплины, также сопровождались очень высокими и долговечными примерами военной доблести. Поведение английских войск в Фонтенуа - лишь один из многих примеров того, что я имею в виду.

Тем не менее, чтобы понять войны Революции, мы должны четко установить контраст между так называемыми профессиональными армиями, предшествовавшими этому движению, и армиями, которые Революция изобрела, использовала и завещала современному миру.

Возвращаясь к сказанному выше, мы также должны вспомнить династический и ограниченный характер войн, в которых участвовал восемнадцатый век; на момент начала Революции мужчины не помышляли ни о каких других войнах.

Если бы вы заговорили, например, в любой момент 1789 года с государственным деятелем, будь то со старым опытом или только введенным в политическую жизнь новым движением, о позиции Великобритании, он бы сразу же обсудил эту позицию с точки зрения недавнего поражения Великобритании от Франции в деле американских колоний. Если бы вы обсудили с ним позицию Пруссии, он бы сразу же аргументировал это в связи со светской оппозицией Пруссии Австрии и Империи. Если бы вы спросили его, как он относится к Испании, он бы рассказал о положении Испании по отношению к Франции в свете того факта, что Испания была монархией Бурбонов, кровно связанной с французским тронem. И так далее. Ни один настоящий государственный деятель не представлял себе в то время, да и в течение многих лет, что война *идей* или даже, строго говоря, *наций*, была возможна. Даже когда такая война действительно велась, дипломатия, пытавшаяся установить мир, интриги, посредством которых искали союзы или договаривались о нейтралитете, зависели от более старой концепции вещей; и историк, рассматривая эту гигантскую борьбу, испытывает ироническое удовлетворение от того, что люди сражаются на основе доктрин, наиболее универсальных из возможных, и все же постоянно меняют свое поведение в ходе борьбы в соответствии с концепциями совершенно особыми, локальными и эфемерными, которые вскоре будут полностью сметены временем.

Сам Наполеон должен был жениться на австрийской эрцгерцогине в рамках этого старого предрассудка, и в течение многих лет такие превосходные умы, как у Дантона или Талейрана, предполагали возможность относиться то к Англии, то к Пруссии нейтрально по отношению к масштабным попыткам французов уничтожить привилегии в европейском обществе!

Можно сказать, что в течение двух лет связь революционного движения с оружием не имела иного аспекта, кроме гражданской войны. Действительно, всякий раз, когда в обществе происходят значительные изменения, всегда должна возникать возможность иностранной войны в связи с ними. Если бы какое-нибудь европейское государство, например, сегодня провело эксперимент по коллективизму, вероятность иностранного вмешательства, несомненно, обсуждалась бы инициаторами этого эксперимента. Но масса образованных людей ни в самой Франции, ни за ее пределами в течение этих первых двух лет не представляла себе серьезной опасности вооруженной борьбы между французами и кем-либо из их соседей в связи с политическим экспериментом Революции. И, я повторяю, военный аспект тех лет был ограничен гражданскими беспорядками. Тем не менее, этим аспектом не следует пренебрегать. То, как французы организовали свою гражданскую войну (а что-то от этого присутствовало всегда, начиная с лета 1789 года), глубоко повлияло на последующую внешнюю войну: в ходе внутренней борьбы огромные массы французов привыкли к физическому присутствию оружия, миллионы - к его обсуждению.

Как мы видели в другой части этой книги, повторяющейся и очевидной ошибкой является представление, что королевские войска недостаточно сурово встретили первые революционные вспышки. Напротив, королевские войска были использованы до предела и потерпели поражение. Население крупных городов, и особенно Парижа, доказало свою способность к военной организации и военным действиям. Когда к этому потенциалу добавился институт ополчения, называемый Национальной гвардией, уже были задатки нации, полностью военной.

Многое в этом исключительном и новом положении должно быть приписано галльскому характеру. Можно сказать, что с момента падения Римской империи и до наших дней этот персонаж постоянно и по своей собственной воле был пропитан опытом организованной

борьбы. Гражданские беспорядки были для него естественным явлением, риск смерти при защите политических объектов был столь же привычен, и вся торговля оружием, ее необходимая организация, ее утомление и ограничивающие условия были очень хорошо знакомы населению на протяжении всех этих столетий. Но помимо этого, тот факт, что Революция подготовила людей в школе гражданских беспорядков, имел первое преимущество в плане ее дальнейшей пригодности в борьбе с иностранными державами.

В истории всегда полезно установить определенную отправную точку для любого политического развития, и отправной точкой революционных войн легко можно считать момент, когда Людовик, его королева и королевские дети попытались бежать к границе и к армии Центра под командованием Буйе. Это произошло, как мы видели, в июне 1791 года.

Множество факторов в совокупности делают эту дату отправной точкой. Во-первых, до этого момента в глазах европейских монархов не было очевидных фактических доказательств пленения их главного образца, короля Франции.

Дикий марш на Версаль в октябрьские дни 1789 года имел параллель с сотней народных волнений, с которыми Европа была достаточно хорошо знакома на протяжении веков. Но быстро последовавшие реформы 1790 года и даже великая религиозная ошибка 1791 года получили подпись и публичное одобрение короны. Двор, хотя и не был больше в Версале, был великолепен, власть короля над исполнительной властью все еще была намного больше, чем у любого другого органа государства, и бесконечно больше, чем у любого другого человека в государстве. Разговоры о пленении, оскорблениях и прочем, крики эмигрантов и постоянные жалобы французской королевской семьи в ее частных кругах казались преувеличенными или, во всяком случае, не заслуживающими внимания, пока не произошел шок от попытки короля бежать и вернуться в плен. Это решило дело; и это решило их тем более, что более чем один Двор, и особенно австрийский, в течение нескольких дней считал, что побег удался.

Опять же, бегство и его неудача поставили армию в нелепое положение. Действия против революции были маловероятны, пока за границей верили в дисциплину и стойкость французской армии. Но в тот раз главное командование безнадежно потерпело неудачу, и было очевидно, что исполнительному правительству или их собственным командирам нелегко было доверять франкоговорящим войскам. Более того, неудача с побегом заставляет королеву, с ее бодростью духа и быстрыми, хотя и плохо сформированными планами, впервые обратиться к идее военного вмешательства. Ее письма, предполагающие это (правда, в форме угрозы, а не войны), начинаются только после ее пленения в Варенне.

Наконец, с этой катастрофой совпало открытое упоминание о Республике, открытое предложение о том, что король должен быть свергнут, и первый определенный и публичный вызов принципам монархии, которые Революция бросила Европе.

Поэтому мы не удивлены, обнаружив, что за этим началом военного движения через два месяца последовала Пильницкая декларация.

С политическим характером этой Декларации следует разобраться в другом месте. Здесь необходимо учитывать ее военный характер.

Декларация Пильница максимально соответствовала тому, что в наши дни было бы приказом о подготовке к мобилизации определенной части резерва. Это нельзя с полным основанием назвать эквивалентным приказу о *вызове* всех резервов, и тем более

эквивалентным приказу о мобилизации на военное положение сил современной нации, поскольку такое действие равносильно объявлению войны (как, например, было действие английского правительства перед южноафриканской войной), а Пильниц был очень далек от этого. Но Пильниц, безусловно, был таким же решительным военным шагом, каким было бы публичное заявление группы держав о том, что резервы были предупреждены в связи с их ссорой с другой державой. Это было, например, столь же радикально, как действия Австрии против Сербии в 1908 году. И предполагалось, что за этим последует такое подчинение, какое, как ожидается, последует при угрозе превосходящей силы.

Таково было содержание писем Марии-Антуанетты к своему брату (который созвал собрание в Пильнице), и таков был смысл, в котором это понимали политики Революции.

Всю ту осень и зиму иностранные дипломаты и самые ясные французские мыслители в основном следили за состоянием французских войск и их командования. Назначение Нарбонна в Военное министерство имело большее значение, чем любой политический шаг, преемственность Дюмурье на его посту была событием того времени. Были составлены планы кампании (и Мария-Антуанетта незамедлительно выдала их врагу), были обнаружены многочисленные поводы для реальных военных действий, Революция бросила вызов императору в вопросе эльзасских принцев, император через Кауница бросил вызов Революции в письме, прямо вмешивающемся во внутренние дела Франции и претендующем на право *главенства* в них; и 20 апреля 1792 года Империи была объявлена война. Вслед за этим Пруссия сообщила французскому правительству, что у нее общее дело с императором, и революционная борьба началась.

В течение первых четырех месяцев война не обнаружила серьезных признаков: так медленно шли сборы и марш союзников; но паника, в которую впали революционные войска в первых стычках, отсутствие дисциплины и очевидный упадок французской военной мощи сделали успех Вторжения, когда оно должно было начаться, несомненным. Армия вторжения пересекла границу более чем через неделю после падения дворца. Лонгви капитулировал сразу; неделю спустя, в последние дни августа, была взята великая пограничная крепость Верден. Она капитулировала почти сразу.

ДВОЕ

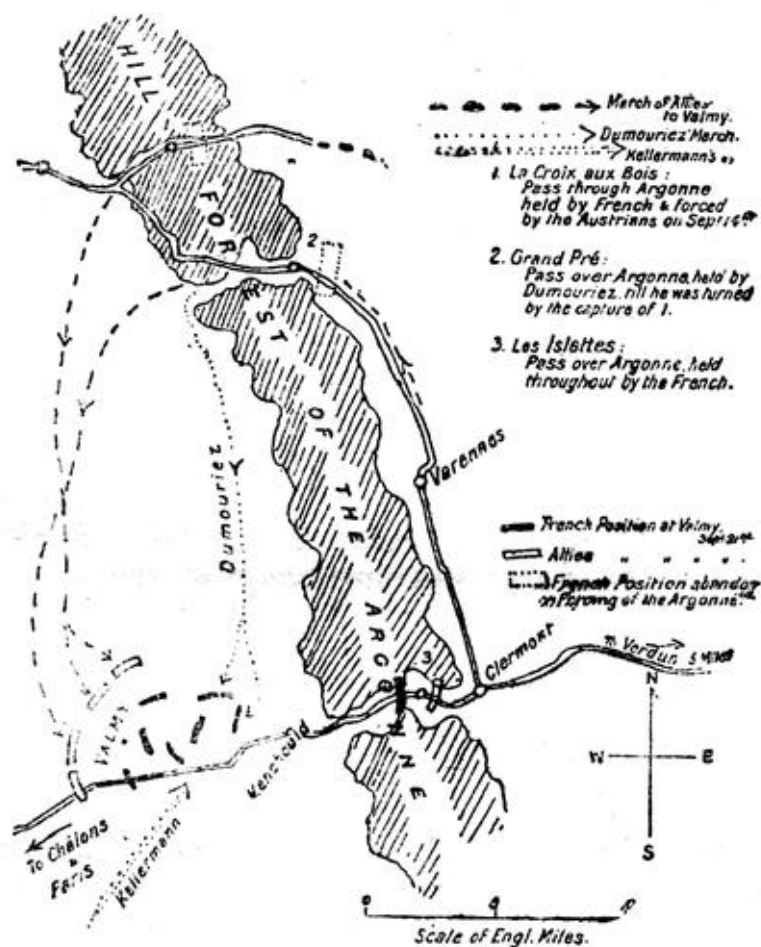
2 сентября пруссаки вступили в Верден, и немного дальше от городских ворот, возле деревни, носящей название Сожаляющий, был разбит лагерь союзников. Чуть более недели спустя, 11-го числа, союзники выступили к линии Аргонн.

Читатель, вероятно, помнит, что этот момент, с потерей пограничных крепостей Лонгвий и Верден и свидетельством деморализации, которую это вызвало, был также моментом сентябрьской резни и ужасов в Париже. Дюмурье и смешанные французские войска, которыми он командовал, получили приказ военного министра удерживать линию Аргонны, против которой шли союзники. И здесь хорошо бы пояснить, что подразумевалось в военном смысле под этим словом “линия”.

Аргонна - длинная, почти прямая гряда холмов, тянущаяся с юга на север, значительно западнее норта.

Их почва глинистая, и хотя высота холмов всего триста футов над равниной, их откос или крутая сторона обращена к востоку, откуда можно ожидать вторжения. Они густо поросшие лесом, шириной от пяти до восьми миль, запас воды в них плохой, во многих частях

непригоден для питья; жилье с его обеспечением для армий и дорог крайне редки. Необходимо настаивать на всех этих деталях, потому что большей части гражданских читателей трудно понять, насколько серьезным препятствием для армии на марше может быть такая сравнительно незначительная деталь ландшафта. Орудиям, повозкам, а следовательно, продовольствию и боеприпасам вторгшейся армии было совершенно невозможно пройти через лес по размокшей глинистой земле той дождливой осенью, за исключением тех мест, где имелись надлежащие дороги. Их можно было найти только там, где через хребет проходил своего рода естественный проход.



Пруссак и австрийцы объединили свои силы на равнине, известной как Шампанский Пуэз, которая лежит к западу от Аргонны. Будет видно, что, когда они продвигались на юг по этой равнине, чтобы встретиться с Дюмурье и нанести ему поражение, их положение было своеобразным: они были ближе к столице противника, чем армия противника, и все же им приходилось сражаться спиной к этой столице, а их врагу французам приходилось сражаться лицом к ней. Более того, следует отметить, что коммуникации союзной армии теперь были извилистыми, окольными, что замедляло и затрудняло доставку провизии и боеприпасов, но они рассчитывали на немедленное уничтожение войск Дюмурье и после этого быстрый марш на столицу.

19 сентября Келлерман подошел с юга и объединился с Дюмурье близ Сен-Менеуля, а утром 20-го его отряд занял участок земли, на котором стояла ветряная мельница, а сразу за ней находилась деревня Вальми; от этой деревни и получила свое название последующая операция. Здесь следует подчеркнуть, что обе армии более двух недель подвергались наихудшей погоде, но из этих двух прусские войска пострадали от этого несчастного случая гораздо серьезнее, чем французские. Дизентерия уже разразилась, и протяженность и извилистость их сообщений в значительной степени усугублялись состоянием дорог.

Утром того же дня, 20 сентября, туман препятствовал всем решительным действиям. Произошло столкновение, наполовину случайное, между передовой французской батареей и орудиями противника, но только к середине утра погода улучшилась настолько, чтобы показать каждому отряду своего противника. Затем произошло действие, или, скорее, канонада, результат которой объяснить, пожалуй, труднее, чем любое другое значительное действие революционных войн. В течение нескольких часов прусская артиллерия, позже усиленная австрийской, обстреливала французские позиции, центральным ориентиром которых была ветряная мельница в Вальми, вокруг которой были сгруппированы французские войска. В какой-то момент эта канонада действовала на передки и повозки с боеприпасами французов; раздался взрыв, который все очевидцы запомнили как главную особенность стрельбы и который, несомненно, на несколько мгновений привел в замешательство разношерстные войска под командованием Келлермана. В какой час это произошло, свидетельства очевидцев, оставившие нам рассказы, расходятся в необычайной степени. У одних это произойдет в полдень, у других ближе к середине дня — так трудно получить сколько-нибудь точный отчет о том, что происходит в разгар акции. Во всяком случае, если не случайно с этим успехом, то в какой-то момент, недалекий от него, был отдан приказ о наступлении пруссии, и именно здесь в первую очередь проявляются трудности историка. Эта атака так и не была доведена до конца; то ли, как полагают некоторые, потому что после получения приказа выяснилось, что она невозможна из-за точности и интенсивности французского огня, то ли, что более вероятно, потому что размокшая почва вынудила командиров прекратить движение после его начала, — какова бы ни была причина, прусские войска, хотя и были превосходно дисциплинированы и руководимы, и хотя наступали в самом точном порядке, не смогли выполнить свою первоначальную цель. Он остановился на полпути вверх по склону, и сражение осталось простой канонадой без видимого немедленного результата с обеих сторон.

Тем не менее этот результат в конечном итоге оказался очень большим, и, если мы рассмотрим его место в истории, не менее важным, чем мог бы быть результат

решительного действия. Во-первых, задержка в один день, с которой это произошло, была просто больше, чем допускали расчеты союзников с их протяженной линией коммуникаций. Во-вторых, это сопротивление придало обескураженным и плохо подобранным войскам французского командования необычайный рост решимости и моральной силы.

Мы должны помнить, что французские войска в целом ожидали и не учитывали поражение, рядовой солдат особенно не был уверен в результате; и обнаружить, что в первом бою, который так долго угрожал и теперь, наконец, состоялся, он мог противостоять врагу, произвело на него преувеличенный эффект, которого это никогда бы не произвело при других обстоятельствах.

Наконец, мы должны помнить, что какие бы причины ни препятствовали прусскому наступлению, на следующий день общее наступление на французские позиции было запрещено. И все это время заболеваемость в прусском лагере быстро росла. Даже эта короткая проверка в двадцать четыре часа имела существенное значение. Дальнейшая задержка еще на один день, в течение которого армия союзников не могла решить, атаковать ли сразу или оставаться на месте, очень сильно увеличила список неэффективных из-за болезней.

Целую неделю растущего беспокойства и растущей неэффективности армия союзников висела таким образом, бессильная, хотя и находилась между французскими войсками и столицей. Дюмурье умело справлялся с этой нерешительностью, со всеми ее нарастающими опасностями для противника, путем длительных переговоров, пока 30 сентября прусская и австрийская организация не смогла больше выдерживать напряжение и ее командиры не приняли решение отступить. Как мы теперь знаем, именно гений Дантона в основном организовал вывод того, что все еще могло быть опасной силой вторжения. В основном благодаря ему не было позволено ни одному неразумному ура-патриотизму требовать испытания силы с захватчиком, что ему было позволено уйти со всем своим оружием, знаменами и свитой. Отступление было длительным и беспрепятственным, хотя за ним наблюдали французские войска, которые незаметно руководили им, но были жестко сдержаны из Парижа. Прошло более трех недель, когда армия союзников, на которую Европа и французская монархия рассчитывали в немедленном урегулировании Революции, вновь пересекла границу, и таким сомнительным и, возможно, необъяснимым образом первая кампания европейских держав против Революции полностью провалилась.

ТРИ

Развивая этот успех, Дюмурье приступил к осуществлению того, что с первого момента его прихода к власти во главе армии было его личным планом, а именно вторжения в Нидерланды.

Чтобы понять, почему это вторжение провалилось и почему Дюмурье думал, что оно может увенчаться успехом, мы должны оценить военную и политическую ситуацию в Нидерландах в то время. Затем они образовали очень богатую и почитаемую часть австрийских владений; в последнее время они страдали от глубокого недовольства, кульминацией которого стала открытая революция, которая была вызвана узким и нетерпимым презрением австрийского императора к религии. От своей первой глупой политики преследований и конфискаций он действительно отступил, но чувства народа по-прежнему были сильно настроены против правительства в Вене. Действительно, примечательно, и отчасти из-за давления сильно протестантского и аристократического государства Голландия, расположенного к северу от

них, что народ австрийских Нидерландов сохранил в то время особую привязанность к католической религии. Революция была столь же антикатолической, как и австрийский император, но о преследованиях последнего бельгийцы (как мы теперь их называем) кое-что знали; первого они еще не научились бояться. Следовательно, Дюмурье рассчитывал, что, вторгаясь в эту провинцию австрийской державы, он будет сражаться на дружественной территории. Опять же, она была отделена от политического центра империи; следовательно, она была более или менее изолирована политически, и даже в военных целях связь с ней была не так легка, если, конечно, Австрия не могла рассчитывать на полное сотрудничество с Пруссией, которая так долго была ее безжалостным и упорным соперником.



Набросок карты городов, оккупированных французами в 1792 году и эвакуированных в марте 1793 года, с местами сражений при Жемаппе и Неервиндене, а также измены Дюмуре.

[Увеличить карту](#)

Однако, поскольку обстоятельства складывались благоприятно для вторжения, необходимо было учитывать два фактора, сильно говоривших против французов: первым было формирование их армии, вторым - дух восстания против любого антикатолического правительства, которое доставляло столько хлопот Иосифу II.

Из этих двух факторов, безусловно, самым важным был, конечно, первый. Если бы французские войска были однородны, настроены бодро и хорошо обучены, они могли бы удержать то, что выиграли; на самом деле, они были крайне неоднородны, большая их часть была плохо обучена, и, что хуже всего, не существовало последовательной теории подчиненного командования. Люди, которые воображали, что подчиненное, то есть полковое, командование в армии может быть возведено снизу, и что боевая сила может напоминать несколько вялую и буйную демократию, маршировали бок о бок со старыми солдатами, которые всю свою карьеру провели в условиях непререкаемой дисциплины и подчинялись подчиненному командованию, которое пришло к ним неизвестно откуда и как бы волею судьбы, и фактически были объединены с ними. Простое смешение двух таких разных классов людей в одном отряде было бы достаточно скверно, но что еще хуже, политические теории того времени способствовали военным ошибкам новых батальонов, хотя политики не осмеливались вмешиваться в ценную организацию старых.

Вторжение в Нидерланды началось с большого, хотя и несколько неформального и бесплодного успеха - победы при Жемаппе. Это было первое поразительное и драматичное решительное действие, предпринятое французами, всегда с жадностью ожидавшими подобных новостей, за последние сорок-пятьдесят лет. Успех в Америке против англичан, хотя и был блестяще одержан и прочно обоснован, не представлял поводов такого характера, и Фонтенуа был последней национальной победой, которую мог вспомнить Париж. Мужчины пожилого возраста осенью 1792 года были бы мальчиками или очень молодыми мужчинами, когда сражались с Фонтенуа. Нетерпеливое поколение

Революции, с его военными аппетитами и способностями, пока еще едва ли ожидало победы, хотя победы они страстно желали и особенно соответствовали их темпераменту.

Поэтому можно себе представить, какой эффект произвели новости о Жемаппе на политический мир Парижа. Бои велись чуть ниже города Монс, в нескольких милях от границы, и заключались в несколько неупорядоченном, но успешном наступлении через реку Хайн. То ли потому, что австрийцы, имея меньшие силы, пытались удерживать слишком длинный рубеж, то ли потому, что пехота и даже новые французские добровольческие батальоны, еще не испытанные усталостью, оказались непреодолимыми в центре движения, Жемаппес был победой настолько полной, что попытки апологетов принизить ее служат только усилению ее характера.

Однако, как и многие другие великие и, по-видимому, решающие действия, они не принесли долговременных плодов. Оба фактора, о которых я говорил выше, проявились сразу после этого успеха. Бельгия действительно была захвачена французами, но, захватывая ее силами примерно восьмидесяти тысяч человек, они не пытались пощадить традиции или заручиться симпатиями жителей. Едва был завоеван Жемаппес, как Монс, соседний укрепленный пограничный город, сразу же получил в свое распоряжение весь механизм революционного правительства. Церковная собственность подвергалась вторжению, а иногда и разграблению, и французские бумажные деньги, ассигнации, о которых мы слышали, хлынули рекой, нарушая, а местами и разрушая превосходную торговую систему, на которой тогда, как и сейчас, покоилась Бельгия.

Битва за Жемаппес произошла 6 ноября 1792 года. В Брюссель вошли 14-го, и в течение всей той зимы Нидерланды были полностью в руках французов. Уполномоченные Конвента, хотя и наделяли Бельгию республиканскими институтами, относились к ней как к завоеванной стране, и перед наступлением весны французский парламент проголосовал за ее присоединение к Франции. Эта аннексия, решимость парижских политиков в том, что новое бельгийское правительство должно быть республиканским и антикатолическим, жестокое обращение с Церковью в оккупированной стране и растущая плохая дисциплина и отсутствие сплоченности в его армии, поставили Дюмуре в положение, которое становилось все более и более трудным по мере приближения нового, 1793 года. Следует помнить, что этот момент в точности соответствовал казни короля и последующему объявлению войны Францией или против Нее одной державе за другой по всей Европе. Тем временем было решено, достаточно глупо, перейти от трудной оккупации Бельгии к еще более трудной оккупации Голландии, и была запланирована осада Мейстрихта.

Момент был совершенно неподходящим для такого плана. Каждая исполнительная власть в цивилизованном мире объединялась открыто или тайно, прямо или косвенно, против революционного правительства. Первый приказ об отступлении поступил 8 марта, когда осада Мейстрихта была признана невозможной, и когда большие силы союзников были снова собраны для попытки того, что должно было стать действительно серьезным наступлением на Революцию: нечто гораздо более опасное, нечто, что гораздо ближе к успеху, чем марш сравнительно небольших сил, остановленный при Вальми.

Десять дней продолжалось отступление французов, когда 18 марта Дюмуре рискнул вступить в сражение при Неервиндене. Его армия потерпела поражение.

Поражение не было катастрофическим, отступление продолжалось в довольно хорошем порядке, но гражданское население ничего не понимает, кроме слов "поражение" и "победа";

оно может оценить битву, а не кампанию. Известие о поражении, пришедшее в момент кризиса в политике Парижа, было решающим; оно вызвало серьезные сомнения в лояльности Дюмуре революционному правительству, оно пошатнуло его популярность среди тех, кто продолжал верить в него, в то время как сам генерал не мог не верить, что материальная база под его командованием быстро ухудшалась. Еще до конца месяца армия оставила все свои завоевания, и 27-го числа был взят Валансьен на французской территории. Нападение на Бельгию полностью провалилось.

В этот момент произошел один из тех политических актов, которые так сильно нарушают любой чисто военный аспект революционных войн. Дюмуре во главе своей армии, которая, хотя и была отступлена и разбита, все еще оставалась нетронутой, решил на то, что потомство справедливо назвало изменой, но что, по его собственному мнению, должно было казаться не более чем государственной мудростью. Он предложил заключить соглашение с врагом и совершить совместный поход на Париж, чтобы восстановить монархическое правительство и положить конец тому, что казалось ему, как солдату, совершенно безнадежной ситуацией. Он, безусловно, верил, что французская армия в суматохе 1793 года не сможет победить захватчика. Он видел свою собственную жизнь в опасности только потому, что потерпел поражение. Он не терпел растущего энтузиазма или бреда политической теории, которая вынудила его отправиться в путь, и еще до того, как он достиг французской территории, начались его переговоры с Кобургом, австрийским командующим. Они длились долго. Дюмуре согласился передать пограничные крепости Франции в руки врага в качестве гарантии и залога, и 5 апреля все было готово к союзу двух вооруженных сил.

Но точно так же, как измена Дюмуре в военном смысле ненормальна и настораживает любого генерала кампании, таковыми были и действия его армии.

Сомнительный момент общего командования, которое носит политический характер и может быть непопулярно среди рядовых, заключается, конечно, в отношении командиров частей, а они единодушно отказались подчиняться приказам своего начальника. Было известно, что Дюмуре был вызван в коллегия адвокатов Конвента, который направил уполномоченных для его задержания. Он арестовал уполномоченных и передал их в качестве заложников и пленных в Кобург. Находясь так далеко от Дюмуре, что в критический день передал свои силы врагу или включил их в состав союзной армии для похода на столицу, он был вынужден 8 апреля бежать; все, кто исчез вместе с ним, считая многих, кто позже дезертировал обратно под знамена Франции, составляли менее тысячи человек — и это иностранные наемники.

Последствия этого странного отрывка для политической истории того времени мы уже видели. Его последствия для военной истории были косвенными, но глубокими. Французские войска, какими они были, все еще были целы, но Париж в будущем не мог доверять ни одному генералу, и стимул, который нации в критические моменты вторжения и опасности во время внешней войны искали в патриотизме, в предложении высокого жалованья солдатам и почестей и богатств своим командирам, теперь французы искали в уникальном, новом и ненормальном эксперименте Террора. Командование на границе в течение 1793 года и первой половины 1794 года, то есть в течение критических четырнадцати месяцев, которые решили судьбу Революции и которые повернули ход военных действий в пользу французов, было задачей, выполняемой под влиянием смертной казни. Грубая ошибка рассматривалась как доказательство государственной измены, и над каждым общим движением нависала угроза гильотины.

То, что мы должны сейчас проследить, - это более чем год борьбы, столь необычно организованной с французской стороны и, наконец, успешной благодаря гению великого организатора, когда-то солдата, а теперь политика, Карно. Французы преуспели благодаря непоколебимой убежденности, которая позволила политическим лидерам пойти на все крайности в своей решимости спасти Революцию; особой физической выносливостью, которую продемонстрировала их армия, и, наконец, конечно, определенным случаям — ибо случайность всегда будет определяющим фактором на войне.

Весна 1793 года, апрель и май, стали первым кризисом войны за независимость. Готовящееся наступление носит всеобщий характер и кажется абсолютно уверенным в успехе. За исключением прорыва при Жемаппе, где менее тридцати тысяч австрийцев были прорваны превосходящим по численности потоком (хотя даже там они были явно плохо организованы), революционные армии не добились успеха. Их состояние было, даже на взгляд непрофессионала, плохим, а на взгляд эксперта - безнадежным. Не было очевидного единства в руководстве, в дисциплине рядов были обширные повреждения, похожие на огромные дыры, прорванные в какой-то гнилой ткани. Даже против сил, уже мобилизованных против нее, она оказалась бессильной, и можно было считать само собой разумеющимся, что благодаря действиям, больше напоминающим полицейскую работу, чем настоящую кампанию, союзники достигнут Парижа и вскоре будет восстановлено нечто, напоминающее старый порядок. Остается лишь проследить за процессом, в результате которого эти ожидания были обмануты.

Ситуацию на данный момент лучше всего можно понять, взглянув на схему на стр. 178. Зимой 1792-1793 годов были предприняты два крупных наступления Франции; первое - наступление на север, которое мы только что подробно описали, захватив Бельгию; другое - продвижение на восток вплоть до Рейна и города Майнца. Оба потерпели неудачу. Был прочитан провал в Бельгии, кульминацией которого стала измена Дюмурье. На Рейне (где Майнц был аннексирован французским парламентом точно так же, как и Бельгия) активная враждебность населения и сбор организованных сил союзников имели тот же эффект, что и в Нидерландах.

Это было 21 марта 1793 года, когда пруссаки форсировали Рейн у Бахараха, и в течение той недели французский командующий Кюстин начал отступать. Первого апреля он снова вернулся на французскую территорию, оставив гарнизон Майнца, численностью чуть более двадцати тысяч человек, держаться изо всех сил; две недели спустя пруссаки окружили город, и началась осада.

На северо-восточном фронте, простиравшемся от Арденн до моря, развивалось аналогичное положение вещей. Там между союзниками и Парижем стоял барьер из крепостей, и пришлось предпринять серию осад, соответствующих осаде Майнца на востоке. Почти одновременно с захватом Майнца, 9 апреля, союзники предприняли первый шаг в выполнении этой военной задачи, продвинувшись между крепостью Конде и крепостью Валансьен. С этого момента задачей австрийцев под Кобургом совместно с союзниками, которые должны были добраться до него, было одну за другой сдавать пограничные крепости и, когда его коммуникации будут, таким образом, в безопасности, двинуться на Париж.

Здесь читателю, не знакомому с военной историей, необходимо оценить два момента, относительно которых немало современных исторических работ может ввести его в заблуждение. Первая заключается в том, что как в долине Рейна, так и на бельгийской

границе силы союзников по своей численности и организации считались подавляющими. Во-вторых, ни одному компетентному командиру на месте не пришло бы в голову оставить позади себя гарнизон хотя бы одной не взятой крепости. Важно настаивать на этих моментах, потому что политические страсти, вызванные революцией, все еще настолько сильны, что люди едва ли могут писать о ней без предубеждения и предвзятости, и две ошибки, постоянно присутствующие в этих описаниях военной ситуации весной 1793 года, заключаются, во-первых, в том, что союзники были ослаблены польским вопросом, который тогда был активным, и, во-вторых, в том, что задержка их командования перед французскими крепостями была ненужной.

Оба эти утверждения выдвигаются с целью объяснить окончательное поражение врагов Революции: оба, каким бы великим авторитетом они ни обладали, неисторичны и ничего не стоят. Французский успех был военным успехом, обусловленным определенными военными факторами, как преднамеренными, так и случайными, о которых пойдет речь далее. Союзники сыграли свою роль так, как того требовало все военное искусство; в конечном счете они потерпели поражение не из-за совершения какой-либо грубой и очевидной ошибки в политике или стратегии, как иногда утверждают историки, слишком слабо разбирающиеся в военном деле, а из-за военного превосходства их противников.

Верно, что польский вопрос (то есть необходимость, которую испытывали каждое австрийское и прусское правительства, следить за тем, чтобы значение другого не уменьшалось из-за приближающихся аннексий новых польских территорий с вытекающими из этого ревностью и недоверием между Австрией и Пруссией) был очень важной чертой момента. Но плохая военная история - делать вид, что это повлияло на военную ситуацию на Рейне или в Нидерландах.

Каждая кампания обусловлена своей политической целью. Политической целью в данном случае было наступление на Париж и его оккупация. После определения политической цели кампании подсчитываются численность и организация противника и против него выдвигаются определенные силы. Привлекается не намного больше сил, чем необходимо: действовать таким образом было бы в военном искусстве то же самое, что платить в два-три раза больше цены предмета в торговле. Силы союзников на Рейне и в Нидерландах были, по мнению всех авторитетов того времени, вполне достаточными для их цели; и более чем достаточными: настолько более чем достаточными, что позиция того военного мнения, которое должно было отразить атаку, а именно, профессионального военного мнения французских республиканских солдат, заключалась в том, что ситуация была отчаянной, и на самом деле никто не пытался противостоять ей, кроме неистового и, так сказать, иррационального энтузиазма.

Второй момент, так называемая “задержка”, связанная с осадами, предпринятыми союзниками, доказывает, когда он выдвигается, недостаточное знакомство с современными условиями. Любая крепость со значительным гарнизоном, оставшаяся не взятой, означала бы разрушение австрийских или прусских коммуникаций, причем их уничтожение в тот момент, когда австрийские и прусские войска фактически наступали по отчаянно враждебной стране. Более того, когда действуешь против сил, полностью уступающих в дисциплине и организации, непокоренная крепость является убежищем, разрушить которое нужно приложить особые усилия. Броситься в такое убежище всегда будет для командующего этими низшими силами последним средством. Это убежище, которым он, несомненно, воспользуется в конечном итоге, если ему будет позволено. И когда он таким образом воспользовался этим, это означает бессрочное существование вооруженной

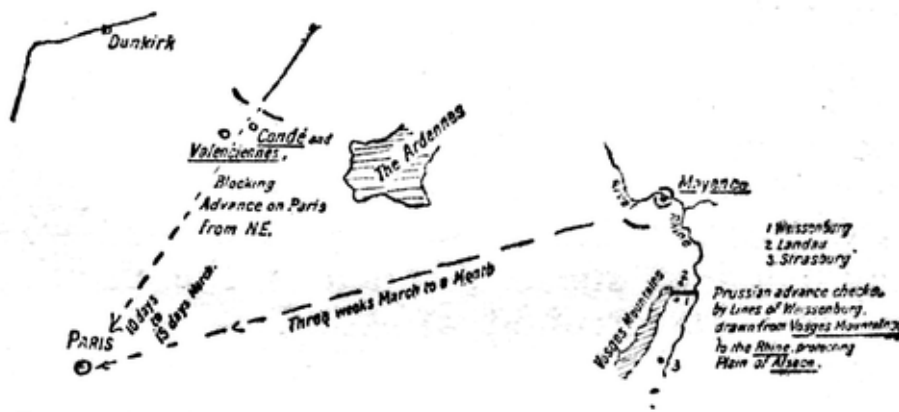
организации в тылу наступающих захватчиков. Мы должны заключить, если хотим понять суть этой решающей кампании, изменившей мировую историю, что Кобург поступил совершенно правильно, осаждая одну крепость за другой, прежде чем начать то, что, как все ожидали, должно было стать обязательно успешным наступлением на Париж. Отчаяние французов по мере того, как сдавался один город за другим, является вполне достаточным доказательством превосходства его суждений.

Таким образом, мы подходим к военной проблеме 1793 года, имея в виду следующие две области, ясные перед нами:—

1. На северо-востоке наступление на Париж, путь к которому прегражден четырехугольником крепостей: Монс, Мобеж, Конде и Валансьен, с вспомогательным опорным пунктом Лекенуа по соседству с последней. Монс находится в руках Австрии со времени отступления Дюмуре; Конде только что отрезан от Валансьена наступлением Кобурга, но не пал; Валансьен и соседний Лекенуа все еще целы, как и Мобеж. Все они должны быть сокращены, прежде чем начнется наступление на Париж. За этими крепостями находится французская армия, неспособная пока атаковать командование Кобурга с какой-либо надеждой на успех. Такова ситуация в последние две недели апреля.

2. Тем временем на Рейне осажден французский гарнизон в Майнце; Кюстин, французский командующий в этом квартале, отступил к французскому городу Ландау и проводит то, что известно в истории как Вайсамбургские рубежи. Прилагаемая карта-эскиз объясняет их важность. Опираясь на два препятствия - реку справа и горы слева, они выполняли в точности те же функции, что и крепость; и эти функции мы только что описали. Пока эти линии не были проведены, весь Эльзас можно рассматривать как крепость, защищенную горами и рекой с двух сторон и линиями Вайсамбурга с третьей.

Читатель, не знакомый с военной историей, может спросить, почему препятствие не было нанесено по линии прусского наступления на Париж. Ответ заключается в том, что присутствие войск за укреплениями в любом месте поблизости от линии сообщения в точности эквивалентно препятствию, лежащему прямо на этих линиях. Ибо ни один командир не может продвинуться вперед вдоль линии своего наступления и оставить большие неразрушенные силы по одну сторону этой линии, расположенные так, что они могут выступить, когда он пройдет мимо, и перерезать его коммуникации; ибо именно коммуникациями живет армия, особенно когда она марширует по враждебной стране.



Стратегическая ситуация в начале лета 1793 года. Майнц осажден, Конде и Валансьен вот-вот будут осаждены.
Условия двойного наступления на Париж.

[Увеличить карту](#)

Таким образом, Кюстин за своими линиями Вайсамбурга и осажденный гарнизон в Майнце соответствуют барьеру из крепостей на северо-востоке и задержали продвижение пруссаков под командованием Вурмзера и Брауншвейга с Рейна, точно так же, как Конде, Валансьен и Мобеж предотвратили продвижение Кобурга на северо-восток. Такова в целом была ситуация на восточной границе в конце апреля 1793 года.

ЧЕТЫРЕ

Давайте сначала проследим за развитием событий на севере. Вспомним, что вся Европа была в состоянии войны против французов. У австрийцев были союзники - голландские войска, которые присоединились к ним в этот момент, и некоторые английские и ганноверские войска под командованием герцога Йоркского, которые также присоединились к ним.

В этот момент, когда Кобург обнаружил, что его силы растут, была предпринята предварительная атака французов на него, которая провалилась. Дампьер, командовавший всей этой французской "Армией Севера", был убит, и на его место был послан Кюстин. Армия Севера не сосредоточилась, как, возможно, следовало бы, в одном корпусе, чтобы отразить угрожавшее наступление Кобурга; она постоянно предпринимала попытки отвлекающих маневров, которые были бесполезны, поскольку ее сил было недостаточно. То он делал ложный выпад справа в сторону Намюра, то вдоль морского побережья слева; и эти отвлекающие маневры не достигли своей цели. Еще до конца месяца Кобург, чтобы, так сказать, освободить себе пространство для подготовки к осаде, вынудил основные силы французов отступить на позицию далеко за Валансьеном. Сразу после этого успеха Кобурга Кюстин прибыл, чтобы принять командование на бельгийской границе, а его место на Рейне занял Ушар.

Кюстин был очень способным командиром, но крайне невезучим. Его план был правильным: сосредоточить все французские силы (оставив Рейн) и таким образом сформировать армию, достаточную для того, чтобы справиться с войсками Кобурга. Правительство не пошло ему навстречу в этом, и он немедленно посвятил себя реорганизации Армии Севера в одиночку. На выполнение этой задачи были потрачены июнь и половина июля.

Тем временем начались осадные работы австрийцев, и Конде стал первым объектом их внимания. 10 июля Конде пал. Тем временем Кюстина отозвали в Париж, а Валансьен был захвачен. Кюстина сменил Килмейн, генерал ирландского происхождения, который удерживал свою позицию лишь короткое время и, пока сохранял ее, ничего не мог предпринять. Силы союзников постоянно увеличивались. Численность, имевшаяся в распоряжении Кобурга, свободного от осаждения Валансьена, уже превышала силы, необходимые для этой цели. И еще пятнадцать тысяч гессенских солдат вступили в город, пока исход этой осады был под вопросом. Это большое численное преимущество позволило ему избавиться от основных французских сил, которые все еще находились перед ним, хотя и не причиняли ему серьезного раздражения.

Эти силы находились точно к юго-западу от Валансьена, примерно в дне перехода. Его захват зависел от его английских и ганноверских союзников под командованием герцога

Йоркского, но поход этого генерала провалился. Расстояние было слишком большим для его войск в жаркую летнюю погоду, и французы смогли отступить за линию Скарпа и сохранить свою армию в целости.

Таланты герцога Йоркского патриотически преувеличивались во многих трактатах. Он всегда терпел неудачу, и это было одним из самых показательных его провалов.

Едва Килмейн успел сбежать из Йорка, расположить свою армию за Уступом и занять безопасную позицию, как его, в свою очередь, лишили командования, а Ушара, как и Кюстина, увели с Рейна и поставили во главе Северной армии. Прежде чем основные силы французской армии заняли эту безопасную позицию, Валансьен пал. Она пала 28 июля, и ее падение, каким бы неизбежным оно ни было и, можно сказать, считалось само собой разумеющимся военным мнением, стало самым тяжелым ударом, который когда-либо был нанесен. Не оставалось ничего важного, что могло бы преградить путь армиям союзников, кроме Мобежа.

Примерно в один и тот же момент произошли три очень важных изменения в общей военной ситуации, которые читатель должен отметить, если он хочет понять то, что последует дальше.

Первой была внезапная серьезная внутренняя угроза республиканскому правительству; второй - приход к власти Карно; третьей - отвлекающий маневр англичан против Дюнкерка.

Серьезной внутренней угрозой, с которой пришлось столкнуться правительству Республики, было широкомасштабное восстание, о котором говорилось в предыдущей части этой книги. Акция парижских радикалов против жирондистов подняла на ноги целые районы в провинциях. Марсель, который с апреля проявлял признаки недовольства и начал поднимать местную реакционную силу, восстал. То же самое сделали Бордо, Ним и другие крупные южные города. Лион восстал в конце мая и убил якобинского мэра города в период между падением Конде и Валансьена. Отряд, поднятый Марселем против Республики, был разбит на поле боя всего за день до падения Валансьена, но крупный морской порт все еще не был занят правительственными войсками. Нормандский поход на Париж также провалился между этими двумя датами - падением Конде и падением Валансьена. Нормандский лай оказался хуже, чем нормандский укус; но отряд находился так близко к столице, что занимал очень большое место в тогдашних заботах. Вандейское восстание, хотя его триумфальное продвижение было остановлено под Нантом за две недели до падения Конде, все еще было энергичным, и ужасные репрессии против него едва начались. Хуже всего, или, по крайней мере, возможно, хуже всего после лионского восстания, было отступничество Тулона. Тулон восстал за два дня до падения Валансьена и был готов сдаться (что в конце концов и произошло) английскому флоту.

Даты, приведенные таким образом в их порядке, могут несколько сбить читателя с толку, и поэтому я резюмирую общее положение внутренней опасности следующим образом: человек во французском лагере на Шельде, прислушивающийся к грохоту пушек в пятнадцати милях от Валансьена и ежечасно ожидающий их молчания как сигнала о том, что город сдался, узнал бы по почте одно за другим, что Марсель все еще сопротивляется правительству; что контратака против успешных вандейцев только сомнительно началась (весь июль в этом квартале был полон бедствий); что Лион одержал бешеный успех в своем восстании и осмелился казнить республиканского мэра города; и что большой арсенал и порт в Тулоне, Портсмуте Франции на Средиземном море, претили правительству и

собирались впустить английский флот. Его единственным утешением было бы услышать, что поход норманнов на Париж провалился, но он все еще был бы под впечатлением от этого и от убийства Марата нормандской женщиной.

Вот картина той внезапной внутренней борьбы, которая совпадает с этим моментом войны за независимость, моментом падения Конде и Валансьена и обнажения границы.

Второй момент, приход Карно в Комитет общественного спасения, который уже затрагивался в политической части этой работы, имеет настолько важное военное значение, что мы должны рассмотреть его и здесь.

Следует помнить, что срок полномочий старого Комитета общественной безопасности истек 10 июля. Именно Комитет контролировался мудростью Дантона. В состав нового Комитета, избранного без участия Карно, не входил, но военный гений этого человека уже был достоянием общественности. Он происходил из того сильного среднего класса, который является стержнем, на котором вращается история современной Европы; бургундец по происхождению, убежденный республиканец, он был возвращен в Конвент и проголосовал за смерть короля; сапер до революции, человек, хорошо знающий свое дело и вообще разбирающийся в военном деле, он был направлен Конвентом в Северную армию по поручению, он видел ее слабость и наблюдал за ее экспериментами. По возвращении его не сразу выбрали на пост, на котором он должен был изменить ход войны за независимость. Только 14 августа ему было предоставлено временное место в Комитете, которое его таланты очень скоро сделали постоянным. Ему дали это место просто как временную остановку для одиозного и некомпетентного фанатика Сент-Андре, который в данный момент находился в командировке. Но со дня его поступления его превосходство в военном деле было настолько неоспоримым, что он был там фактически диктатором, и его первым действием после того, как им были определены общие организационные линии, было навязать пограничным армиям необходимость концентрации. Он представил то, что впоследствии унаследовал от него Наполеон, - тактическую идею "все за один бросок".

Следует помнить, что успех Карно заключался не в каком-либо революционном открытии, связанном с военным искусством, а скорее в той огромной способности к разнообразным деталям, которая отличает организатора, и в глубокой симпатии к национальному характеру. Он понимал презрение к парадности, суровость или жестокость дисциплины, сознание огромной силы выносливости, которая проявляется во французе, когда он становится солдатом; и он использовал это свое понимание.

Далее следует помнить, что за спиной этого могущественного гения в эти первые дни его деятельности стоял не менее могущественный гений Дантона; ибо именно Дантон и он придали практическую форму тому закону о воинской повинности, с помощью которого Французская революция внезапно увеличила свои вооруженные силы почти на полмиллиона человек, восстановила римские традиции и заложила фундамент вооруженной системы, от которой сегодня зависит Европа. Поскольку Карно фактически является главнокомандующим всеми армиями и имеет возможность навязывать свои решения, в частности, той Армии Севера, которую он так недавно изучал в качестве комиссара, становится понятным второй фактор ситуации, которую я описываю.

Третьей, как я уже сказал, была английская диверсия на Дюнкерке.

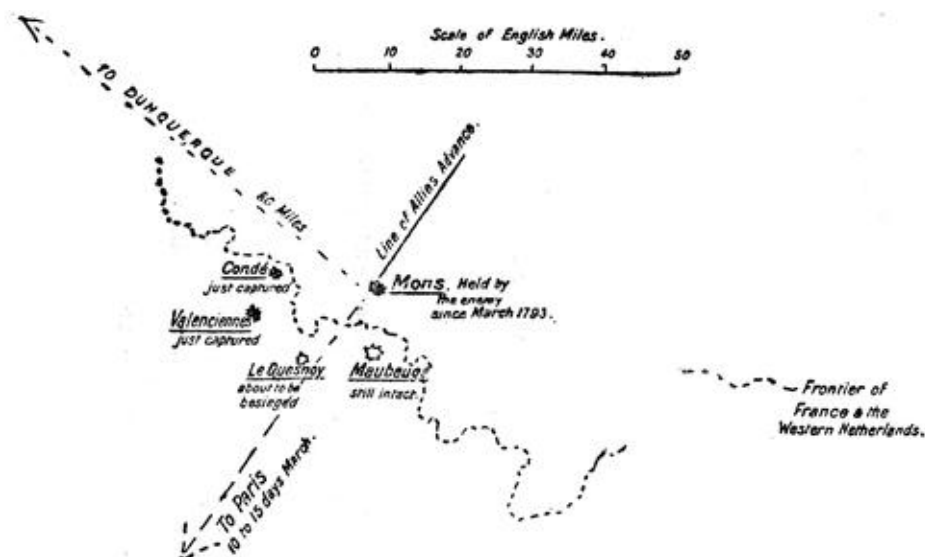
Последующий провал союзников привел к резкой критике этого движения. Если бы союзники не потерпели неудачу, история обошлась бы с ним так, как обошлись с ним

современники. Силы союзников на северо-восточной границе были настолько велики, а их уверенность в себе столь надежна — особенно после падения Валансьена, — что предложение Англии на время вывести свои войска из Кобурга и обезопасить Дюнкерк не было встречено какой-либо деструктивной критикой. Восемнадцать батальонов и четырнадцать эскадронов имперских войск были фактически предоставлены герцогу Йоркскому для участия в этой экспедиции. Более того, даже после того, как эта диверсия провалилась, план был составлен так, чтобы начать все сначала, когда последняя из других крепостей должна была пасть: настолько незначительным был английский план захвата морского порта, который не понравился главнокомандующему союзников.

Однако это отклонение от курса на Дюнкерке оказалось ошибкой первостепенной важности. Попытка захватить город полностью провалилась, и победа, сопровождавшая его отбитие, оказала на французов то неопределимое, но мощное моральное воздействие, которое в значительной степени способствовало их будущим успехам.

Прилагаемая схема расположения пояснит местоположение. Валансьен и Конде пали; Лекенуа, небольшая вспомогательная крепость Валансьена, еще не подверглась нападению, но идет следующей в серии, когда момент был сочтен благоприятным для того, чтобы отряд англо-ганноверских войск с определенным количеством союзников Империи выступил к морю.

Читатель истории должен всегда помнить, что военные ситуации, подобные ситуациям на шахматной доске, скорее случаются, чем планируются; и ситуация, сложившаяся в конце сентября на крайнем севере и западе линии, которую французы пытались удержать против союзников, была стратегически такого рода. Когда герцог Йоркский настоял на разделении сил союзников и нападении на Дюнкерк, ни один из ныне живущих современников не предвидел катастрофы.



Показано состояние пограничных крепостей, преграждавших дорогу на Париж, когда было принято решение об экспедиции в Дюнкерк. Август 1793г.

[Увеличить карту](#)

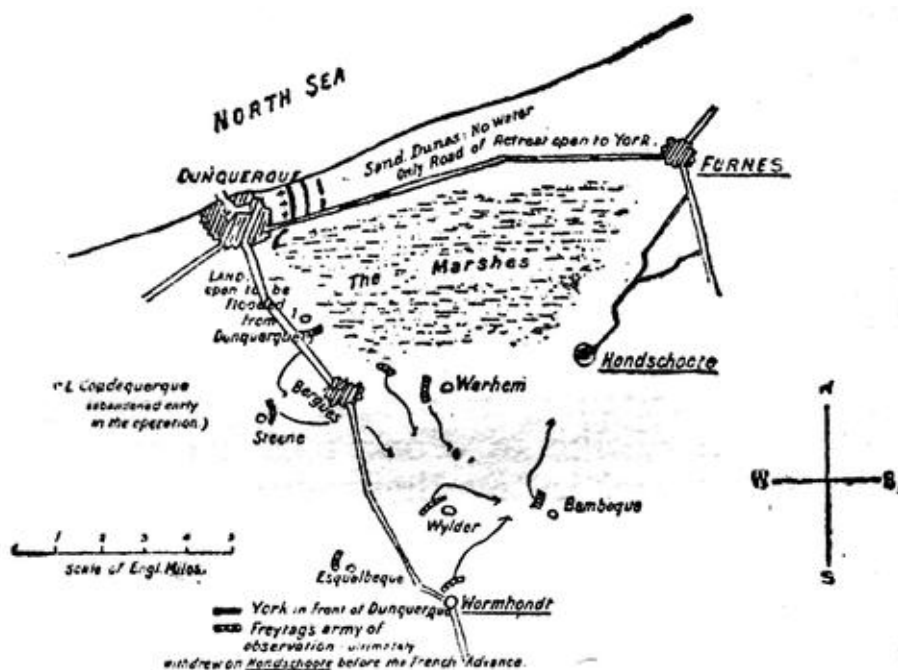
Кобург, действительно, предпочел бы, чтобы англичане остались с ним, и попросил их сделать это, но он не чувствовал никакой опасности из-за их временного отсутствия, да, собственно говоря, и сам не подвергался из-за этого никакой опасности.

Опять же, хотя позиции, которые герцог Йоркский занял, когда прибыл к Дюнкерку, были плохими, ни его критики дома, ни кто-либо из его собственных подчиненных, ни кто-либо из врагов в полной мере не осознавали, насколько они плохи. Как мы сейчас увидим, своего рода дрейф, невезение в сочетании с плохим управлением привели к этой британской катастрофе и (что было крайне важно для ведения войны) к первому успеху в общих действиях, которым французам приходилось льстить и подбадривать себя в течение всего того рокового лета.

Герцог Йоркский отделил свои войска от кобургских незадолго до середины августа; помимо британцев, численность которых не превышала 7000 человек, под его командованием находилось 11000 австрийцев, более 10 000 ганноверцев и 7000 гессенцев. Таким образом, общая численность войск составляла почти 37 000 человек. Никто не мог себе представить, что, столкнувшись с такими войсками, какие французы смогли выстроить в линию, и преодолевая такую жалкую оборону, какой тогда был Дюнкерк, перед армией герцога стояла не совсем легкая задача; и план, который состоял в том, чтобы взять Дюнкерк и по возвращении присоединиться к австрийскому маршу на Париж, был разумным и осуществимым.

Важно, чтобы читатель твердо усвоил это, а не читал историю задом наперед, начиная с будущих событий.

При проведении первого марша следует отметить определенные недостатки. Оно началось 15 августа, проходя от Маршьена до Менина, и с самого начала продемонстрировало тот прискорбный недостаток маршевой мощи, который командование герцога Йоркского демонстрировало на протяжении всей кампании.^[6] От Маршьена до Туркуэна - многодневный переход: герцогу Йоркскому потребовалось четыре дня; а если взять марш в целом, то на преодоление менее сорока миль ушло девять дней. В ходе этого марша у британских войск была возможность научиться презирать своего противника: они обнаружили в Линселле, на фланге своего наступления, несколько недисциплинированных мальчишек, которые сломались в тот момент, когда на них напала охрана, и чье физическое состояние вызвало насмешки нападавших. После этой бесцельной и бесплодной перестрелки армия двинулась в район морского побережья, и осада Дюнкерка была предпринята в условиях, которые читателю будут ясны из следующего наброска карты.



Операции вокруг Дюнкерка. Сентябрь 1793 года.

[Увеличить карту](#)

Сначала следует запомнить дату 20 августа: в этот день армия, которая должна была взять Дюнкерк, была разделена на две составные части. Первая, под командованием герцога Йоркского, заключалась в атаке на сам город; вторая, под командованием престарелого австрийского генерала Фрейтага, заключалась в наблюдении за передвижением любого приближающегося врага и прикрытии сил, осаждавших город. Два дня спустя герцог Йоркский покидал Фурнес, который он сделал своей базой для наступления, и Фрейтаг с величайшей легкостью смел французские посты — в основном из добровольцев — перед собой и начал занимать фланговые позиции к югу и востоку от Берга, которые прикрывали осаду Дюнкерка.

Еще через два дня, 24 августа, Фрейтаг занял Вормхудт и Эскельбек, дюжинами захватывая орудия, довольно успешно справляясь с французскими аванпостами и полностью окружив город Берг. Уайлдер был его штаб-квартирой. В тот же день, 24-го, герцог Йоркский с величайшей легкостью вклинился в передовые позиции французов перед Дюнкерком и запер врага внутри города, в то время как он сформировал свои силы для осады за его пределами, укрепившись на позиции, которую он выбрал заранее, опираясь на море справа от себя, а слева на деревню Теттегем. В то время он находился примерно в 3000 ярдах от укреплений Дюнкерка.

Такова была ситуация на рассвете 25-го, когда все было готово к активным действиям. И здесь читатель должен взглянуть на карту, чтобы понять, что в конечном итоге привело к краху ситуации.

Предположим, Фрейтаг обогнул Берг в том месте, которое показано на карте; герцог Йоркский перед Дюнкерком, как его также показывает карта; две силы соприкасаются через дорогу и пояс местности, соединяющий Берг и Дюнкерк. Прикрывающая армия и

осаждающие силы, которые она прикрывает, представляют собой крыло одного объединенного корпуса; каждая из них сообщается с другой, каждая может поддержать другую в главном пункте приложения усилий, и хотя между первой и другой на восток тянется полоса болотистой местности — “озера”, обозначенные на карте, — все же к западу от них существует соединение между двумя силами, и две армии могут взаимодействовать по дороге Берг-Дюнкерк.

Фактором, которым герцог Йоркский, возможно, пренебрег, была способность затоплять всю эту равнинную местность вокруг, дорогу, которой владели французы в Дюнкерке, располагавшие шлюзами. Они немедленно воспользовались этим: они затопили низменности к югу от Дюнкерка в тот самый день, когда была завершена последняя диспозиция атакующих сил. Но более важным — и до сих пор не объясненным — было оставление австрийцами Кудекерка. Из-за этой ошибки сама главная дорога, стоявшая над наводнением, была потеряна, и из одной сильной армии силы союзников превратились в две слабые. Сообщение между территориями герцога Йоркского и Фрейтага было больше невозможно, и именно этим разделением воспользовались французы, несмотря на их плачевную организацию и еще более плачевный личный состав.

Они медленно воспользовались этим преимуществом. Ушар собрал в общей сложности сорок тысяч человек под Касселем, но прошло десять дней, прежде чем их удалось сосредоточить. Следует еще раз подчеркнуть и повторить, что, какой бы большой ни была численность — она была в четыре раза больше, чем у ныне изолированных сил Фрейтага, — команда Ушара состояла из людей, две трети из которых едва ли можно было назвать солдатами: добровольцев, как новых, так и недавних, плохо обученных призывников и так далее. Не было ни основы дисциплины, ни почти никакой власти для ее поддержания; солдаты вели себя недостойно во всех делах аванпостов, небольшие австрийские силы презрительно прогоняли их со всех позиций, которые они занимали. При всем его численном превосходстве попытка, которую собирался предпринять Ушар, была очень рискованной, а Ушар был колеблющимся и неуверенным в себе командиром. Более того, из сорока тысяч человек по меньшей мере четверть осталась не у дел из-за неумелости и политического террора Дюмесни, правого лейтенанта Ушара.

Наступление французов началось 6 сентября по всей линии фронта; это было простое наступление низших сил превосходящими силами, причем превосходящие силы постоянно доказывали, что они уступают австрийцам в военной ценности. Таким образом, за поимку самого старого Фрейтага в ночной стычке сразу же был отомщен штурм деревни, возле которой он был пойман, и он был вновь взят в плен. В реальных боевых действиях и противостоянии силой на силу командование Ушара не нашло ничего, что могло бы поощрить его во время этих первых операций.

Австрийцы, отступая, сосредоточились и вскоре превратились в одно компактное соединение: атаковать и выбить его было целью французского наступления, но цель, которую вряд ли можно было достичь.

То, что произошло, было связано не только с неожиданным успехом этого наступления, но и с тем, что французы предприняли первое решительное действие в длинной серии, которая должна была завершиться двадцать лет спустя под Лейпцигом.

Армия Фрейтага отступила к деревне Хондсхуте и стояла там в полном составе утром в воскресенье, 8 сентября. Ушар атаковал его силами, значительно уменьшенными, но все же

вдвое превосходящими силы защитников. Однако превосходство австрийских регулярных войск над французскими необстрелянными войсками и добровольцами было настолько очевидным, что утром 8-го результат все еще был сомнительным. Однако к полудню работа была закончена, и противник начал отступление, которое легко могло превратиться в бегство. Взгляд на карту покажет, что Ушар, обладая он инициативой, свойственной столь многим его современникам, мог бы сразу же отбросить численно уступающие и сильно разбитые силы (они потеряли треть своих людей) вправо, а сам перерезать коммуникации герцога Йоркского и уничтожить его армию, которая расположилась на безводных песчаных дюнах, где сейчас стоит деревня Мало-ле-Бен. Ушар колебался; Фрейтаг бежал; герцог Йоркский, бросив свои осадные орудия численностью до сорока человек и большую часть своего тяжелого багажа, поспешно отступил ночью к Фурнесу, прямо через фронт французской армии, и избежал уничтожения.

Таким образом, битва при Хундшуте, как ее называют, сняла осаду Дюнкерка. Это было, как я уже сказал, первое успешное решительное действие, на которое Революция могла рассчитывать с момента ее крайней опасности и начала общеевропейской войны. Но это было совсем не похоже на то, что могло бы быть, если бы Ушар был готов рискнуть нанести сильный удар. Поэтому Ушар был отозван, приговорен к смертной казни и казнен Комитетом общественного спасения, только безжалостный деспотизм которого был способен спасти нацию. Он остается единственным примером генерала, который понес смерть из-за военной некомпетентности после одержания победы, и его казнь является прекрасным примером того, как военный настрой Комитета, и особенно Карно, отказывался учитывать какие-либо факторы в войне, кроме тех, которые способствуют военному успеху.

Карно и Комитет терпеть не могли иллюзий, которые питает гражданская толпа по поводу простых индивидуальных действий: то, что они видели, было кампанией в целом, и они знали, что Ушар оставил противостоящие ему армии нетронутыми.

Возможно, его казнь была более вероятной из-за продолжающихся плохих новостей с этого более важного пункта границы — прямой линии австрийского наступления на Париж. Здесь уже два месяца назад пал Валансьен, и Конде тоже. Лекенуа, третий пункт барьерной линии, капитулировал 11 сентября, и известие об этой капитуляции достигло Парижа сразу же после известия о Хондшуте. Теперь между союзниками и столицей не осталось ни одной крепости, кроме Мобежа. Кобург немедленно двинулся на нее.

У него было не только то огромное превосходство в качестве своих войск, на котором все еще нужно настаивать, но и численное превосходство было три к одному, когда 28 сентября на рассвете он переправился через Самбр выше и ниже Мобежа и к полудню того же дня сдержал французскую армию в этом районе внутри линий крепости.

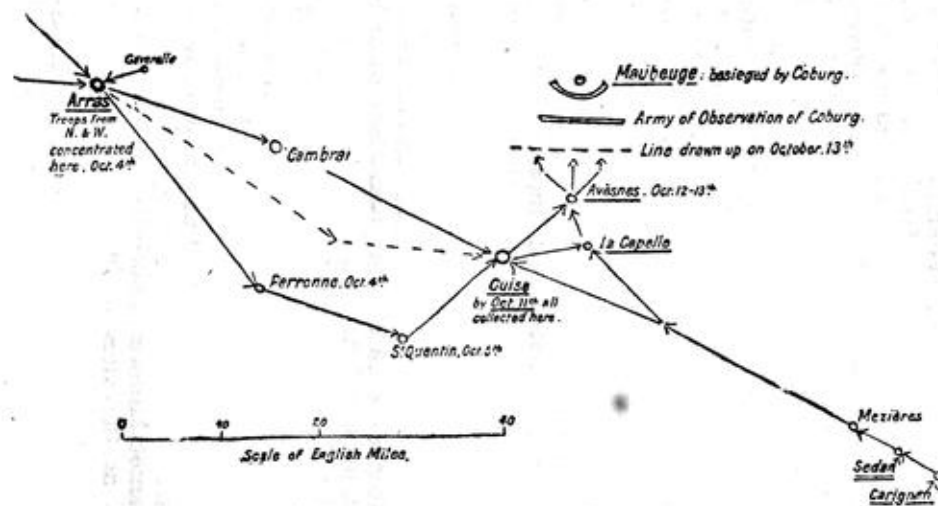
Ситуация была крайне критической: Мобеж был плохо подготовлен к осаде; у него почти не было провизии; его гарнизон был разношерстным и, в целом, плохого качества. На одних съестных припасах он мог продержаться всего несколько дней, и, что хуже всего, за ним стоял непрекращающийся пример необходимой и роковой капитуляции, которым было отмечено все лето. Приказ Комитета общественной безопасности своему командиру был лаконичен: "Ваша голова ответит за Мобеж". После получения этого сообщения по линиям больше ничего не поступало.

Читателю, если он не знаком с военной историей, не мешало бы отметить, что в каждом действии и в каждой кампании есть какой-то фактор положения, или вооружения, или

времени, который объясняет результат. У каждого из них есть как бы стержень, на котором вращается целое. Таким образом, теперь именно от Мобежа зависела война за независимость. Рискаю чрезмерно упростить сложную историю, я бы назвал это главным условием для понимания ранних войн за независимость: если бы Мобеж пал, дорога на Париж была бы открыта, и трюк был бы выполнен^[7] — и здесь мы должны снова рассмотреть эффект в области гения Карно.

Во-первых, он предоставил цифры не на бумаге, а в реальности; Комитет посредством постановления Ассамблеи деспотически “реквизировал” людей, животных, транспортные средства и припасы. Налог был реальностью. На северо-восток начали прибывать тогда еще простые, но увеличивающиеся цифры. Это они рассказали в Хундсхуте, это они должны были рассказать перед Мобежем.

Во-вторых, поскольку Комитет проявил необходимую инициативу, Карно проявил необходимую личность войны. Его собственная воля и собственный разум могли прийти к одному решению в один момент, и он это сделал. Именно он, как мы увидим, выиграл решающий поединок. Он выбрал Журдана, человека, чью причудливую военную карьеру мы неохотно должны оставить в стороне в таком кратком исследовании, как это, но, во всяком случае, любителя, и поставил его под командование Ушара армией Северной границы, и это командование простиралось сразу за Арденны до моря. Он приказал (и Журдан подчинился) сосредоточить людей со всех концов этой длинной линии справа и слева в одной точке - Гизе. Оставлять остальную часть границы слабой было серьезным риском, оправдываемым только очень быстрыми действиями и успехом: и то, и другое должно было последовать. Сосредоточение было произведено за четыре дня. Войска с крайнего севера не смогли прибыть вовремя. Самые дальние из призванных находились за Аррасом, между ними и Гизом было шестьдесят пять миль пути. Эта дивизия (которая должна быть типичной для многих) численностью не более восьми тысяч человек вышла по полученному приказу утром 3 октября и вошла в Гиз в течение 6 октября. Темп марша и синхронность этих перемещений несовершенных войск должны быть особенно отмечены каждым, кто хочет понять, как Революция увенчалась успехом.



Быстрое восьмидневное сосредоточение сил перед Мобежем. Октябрь 1793 года.

[Увеличить карту](#)

Вторая дивизия численностью более тринадцати тысяч человек следовала по параллельной дороге с аналогичным расписанием. С другого конца его линии фронта с крайнего правого фланга был вызван отряд под командованием Борегара, численностью чуть более четырех тысяч человек. На восточной стороне это молниеносное сосредоточение послужит типичным примером. Он был собран недалеко от Кариньяна, городка в целых четырнадцати милях от Седана. По пути она получила подкрепление и 11-го числа двинулась маршем в Фурмис, преодолев всего семьдесят миль за три с половиной дня. С его прибытием сосредоточение было полным, и ни минутой раньше, поскольку вот-вот должна была начаться бомбардировка Мобежа. С 11 по 15 октября армия была выдвинута вперед и выстроена в линию на дневном переходе перед Гизом, с центром в Авенне, лицом к прикрывающей армии Кобурга, которая окопалась на длинном лесистом гребне, с долиной Самбры справа и деревней Ватиньи, расположенной на чем-то вроде возвышенности, слева.

14-го была произведена рекогносцировка австрийской позиции. 15-го была предпринята общая атака, которая была с трудом отбита. Когда в тот день стемнело, мало кто в армии мог поверить, что Мобеж победил — и это был вопрос нескольких часов.

Карно, однако, достаточно хорошо знал как достоинства, так и пороки своих новых войск, войск большого призыва, усиленных частью регулярных войск, чтобы решиться на экстраординарный поступок. Ночью он двинул восемь тысяч человек слева и в центре направо, и утром 16-го его правый фланг перед левым флангом австрийцев у Ватиньи благодаря этому преобразованию стал самым сильным пунктом всей линии фронта.

Конец этой операции был покрыт густым туманом, так же как ночь покрыла ее начало, и этот туман держался почти до полудня. Австрийцы на высотах не имели и намека на обращение, и Ватиньи удерживали только три полка. Если они вообще ожидали возобновления атаки, то могли ожидать ее только в центре или даже слева, где французы больше всего пострадали накануне.

Инициатива на войне - это, по сути, расчет риска, а при высокой инициативе риск высок. На что делал ставку Карно (поскольку Журден был против эксперимента), когда переводил этих молодых людей ночью, так это на возможность заставить их активно поработать после целого дня яростных действий, форсированных маршей предыдущей недели и вдобавок ко всему бессонной ночи дальнейшего марша. Большинство людей, которые были готовы атаковать правый фланг французов с рассветом и рассеянием тумана 16 октября, шли пешком в течение тридцати часов. Атака была предпринята и увенчалась успехом. Неожидаемые силы, сосредоточенные таким образом под Ватиньи, овладели этой крайней позицией, удержали высоту и, следовательно, вышли на фланг всей австрийской линии, которая, если бы усилия агрессоров не истощили ее силы, была бы прорвана по всей своей длине. Как бы то ни было, австрийцы беспрепятственно и в хорошем порядке отступили через реку Самбр. Осада Мобежа была снята, и на следующий день победоносная французская армия вошла в крепость.

Так был успешно пройден поворотный момент революционных войн.

Два месяца спустя были отвоеваны другие ворота страны. В тот момент, когда Мобеж был освобожден, враг прорвал линию обороны Виссамбурга. Возможно, что немедленное и решительное взаимопонимание между союзниками могло бы тогда охватить весь Эльзас; но такого взаимопонимания не хватало. В разрозненной "Рейнской армии" был наведен какой-то порядок, в частности, благодаря энтузиазму Гоша и молчаливому контролю Пишегрю. В конце ноября пруссаки перешли к обороне у Кайзерслаутерна. Гох безуспешно атаковал их в течение трех дней. Что действительно изменило ситуацию, так это потоки людей и материалов, которые хлынули в результате рекрутских сборов и реквизиций. Как раз перед Рождеством враг эвакуировал Хагно. Ландау они все еще удерживали; но решающая битва, разыгравшаяся в День Подарков, настоящая солдатская битва, решаемая штыком, решила судьбу союзников в этом вопросе. Французы снова вошли в Виссамбург, и Ландау был освобожден после четырехмесячной осады и проявления упорства, которое немало помогло переломить ход войны.

Тем временем пришло известие, что последнее из серьезных внутренних восстаний было подавлено. Тулон был вновь захвачен, английский флот изгнан; город, гавань и арсенал попали в руки французов в основном благодаря учености молодого майора артиллерии (не капитана: я обсуждал этот вопрос в другом месте) Бонапарта, и это произошло за неделю до освобождения Ландау. Последняя сбита с толку вандейская орда была отброшена от стен Гранвиля в Нормандии, к которым она допустила ошибку и скорее дрейфовала, чем отступала. При Мане 13 декабря он был разрублен на куски, а при Савенэ 23-го, за три дня до великой победы в Эльзасе, он был уничтожен. Долгая борьба крестьян и бандитов, отчаянная, но вряд ли ее можно назвать партизанской, продолжалась весь следующий год за изгородями Нижней Бретани и Вандеи, но опасность для государства и революции миновала. Итак, 1793 год закончился полным освобождением всей территории Республики, за исключением узкой полосы на бельгийской границе, полным господством на ней ее цезаря, Комитета общественной безопасности; две трети миллиона человек были вооружены, и будущее великого эксперимента, по-видимому, было обеспечено.

Причины этого чуда обсуждались и будут обсуждаться бесконечно. Прежде всего, они заключались в воссоздании сильной центральной власти; во-вторых, в сочетании огромной численности и безрассудного духа самопожертвования. Потери национальной стороны постоянно и значительно превосходили потери союзников — в Эльзасе они были три к одному; и мы лучше поймем суть дуэли, когда осознаем, что за короткие восемь лет между

началом войны и триумфом Наполеона при Маренго с французской стороны пало убитыми и ранеными более семисот тысяч человек.

ПЯТЬ

История 1794 года - всего лишь следствие того, что мы только что прочитали. Характер кампании определила небольшая полоса на бельгийской границе, которая все еще находилась в руках врага.

Решение этого вопроса было принято только весной. Император Австрии прибыл в Брюссель 2 апреля, а две недели спустя произвел смотр своей армии. Французская линия, выстроенная в противовес ему, претерпевала небольшие, но постоянные отступления до конца месяца.

29-го Клерфайт потерпел поражение, которое привело к падению или, скорее, к бегству небольшого гарнизона Менина. Две недели спустя Клерфе был снова разбит при Куртрэ; но все эти первые сражения кампании не имели решающего значения. Туркуэн должен был стать первым тяжелым ударом, который должен был положить начало урегулированию, Флерюс должен был завершить их.

Ни одно сражение не может быть менее удовлетворительно описано в нескольких строках, чем сражение при Туркуэне, настолько разным оно представлялось обоим участникам боя, настолько противоположны планы того, что ожидалось с обеих сторон, и того, что произошло, настолько запутанны различные отчеты современников. Обвинения в государственной измене, которые почти всегда возникают после катастрофы, и особенно катастрофы, постигшей силы союзников, особенно чудовищны и могут быть отвергнуты: в частности, детская легенда, которая утверждает, что австрийцы желали поражения Англии.

Французы говорят, что превосходный форсированный марш и научная концентрация позволили им атаковать противника до того, как было произведено соединение его различных сил. Союзники говорят (если они говорят от имени своего центра), что он был позорно оставлен и не получил поддержки двух флангов; если они говорят от имени флангов, то центру незачем было наступать, когда он увидел, что два крыла не были подняты вовремя для взаимодействия.

Одна история гласит, что эрцгерцог Чарльз был выведен из строя в результате припадка; лорд Эктон придал этому забавному варианту значительный авторитет. Во всяком случае, произошло вот что:—

В пятницу, 16 мая, союзники расположились вдоль реки Шельда: их центром был Турне, а герцог Йоркский командовал там главными силами; в пяти или шести милях к северу, вниз по реке, находился один из концов их линии в местечке под названием Варкоинг: это был отряд ганноверцев. Левые, под командованием эрцгерцога Карла, были австрийцами и достигли места в дневном переходе к югу от Турне, называемого Сент-Аманд. Против союзников находились крупные французские силы, также занимавшие широкий фронт протяженностью более пятнадцати миль, центром которого был Туркуэн, в то время деревня. Его левый фланг находился перед крепостью Куртре. Теперь позади французов, выше по местности к северу, в противоположном направлении от линии союзников на Шельде, находилась еще одна группировка союзников под командованием Клерфайта. План состоял в том, что правые силы союзников должны были продвинуться к Мускрону и захватить его. Центр союзников должен наступать на Туркуэн и Муво и захватить их, в то

время как левый фланг должен форсировать верховья реки Марка, форсируя мосты, пересекающие этот заболоченный поток, и подойти к центру. Другими словами, должна была начаться атака по всей французской линии с юга, и пока она продолжалась, Клерфайт с севера французов должен был пересечь Лис и также атаковать.

В день 17-го произошло следующее: левые части союзников, шедшие из Сент-Аманда, подошли с опозданием на полдня; правые части союзников взяли Мускрон, но были выбиты оттуда французами. Центр союзников выполнил свою программу, достигнув Туркуэна и его окрестностей к полудню и удержав свои позиции. К чести английского оружия, этот успех был достигнут силами, треть которых составляли британцы, и самая заметная штыковая работа в которых была проделана гвардейцами. Между тем, Клерфайт опоздал с переправой через реку Лис, которая лежала между ним и его целью.



Tourcoing. С 16 по 18 мая 1794 года.

Провал попытки союзников отрезать французов близ Куртраи от Лилля произошел из-за того, что они не смогли синхронизироваться, они должны были выстроиться в линию от А до В в полдень 17-го с Клерфайтом в С.

[Увеличить карту](#)

Таким образом, когда наступила ночь в первый день боевых действий, взгляд на карту покажет, что вместо одной сплошной линии, наступающей на французов от пункта А до пункта В, и северных сил, соприкасающихся с ней в пункте С, соединение союзников

представляло собой абсурдный выступ в середине из-за успеха смешанных, наполовину британских сил под командованием герцога Йоркского: успех, который не был закреплен на двух флангах. Выпуклость такого рода в линии атаки, на первый взгляд, катастрофична. Противнику нужно только быстро атаковать по обоим флангам, и выпуклость может быть прорвана. Французы действовали быстро и ворвались в арьергард. Сосредоточив свои силы против этой единственной центральной части союзников, они сражались втроем против одного.

Та же способность, которая при Ватиньи позволила им пренебречь сном и быть неутомимыми в походе, вывела их в путь еще до трех часов утра воскресенья 18-го, и с рассветом они обрушились на центральную группировку союзников, атаковав ее со всех трех сторон.

Именно по этой причине сражение названо битвой при Туркуэне, поскольку Туркуэн был самым передовым пунктом, до которого дошел центр союзников. Немцы, находившиеся справа от герцога Йоркского у Туркуэна, ощутили на себе первый удар атаки. Сам герцог Йоркский со своим смешанным, наполовину британским войском принял удар на себя сразу после этого, и было еще раннее утро. Немцы в Туркуэне начали отступать. Отряд герцога Йоркского, находившийся слева от них, оказался в изоляции: его командиру не следовало продержаться так долго. Но оборона велась с предельной отвагой в течение того короткого времени, в течение которого это еще было возможно. Отступление началось около девяти утра, и первые две мили оно проходило организованно, но после этого началось бегство. Водители британских пушек обратились в бегство, и орудия, оставшиеся без команды, преградили путь стремительному бегству кавалерии. Их беспорядок сразу же передался гвардейцам и шеренге.

Даже в этом отчаянном положении был восстановлен какой-то порядок, особенно Гвардейской бригадой, которая, по-видимому, была сформирована первой, и движение, которое все еще можно было назвать отступлением, продолжалось на юг. Самого герцога Йоркского преследовали от рощицы к рощице, и ему повезло, что он нашел мост через последний ручей, удерживаемый отрядом гессенцев. Таким образом, были уничтожены центральные колонны, которые между собой насчитывали не более трети всех сил союзников.

Клерфайт сначала продвинулся вперед - но слишком поздно, чтобы спасти центр, — а затем отступил. Эрцгерцог Карл, шедший слева, опоздал на четыре часа, выступив на помощь герцогу Йоркскому; правое крыло союзников даже не опоздало: оно провело утро в упорядоченной артиллерийской дуэли с противостоящими ему французскими войсками. К пяти часам пополудни поражение было признано, и союзникам был отдан приказ об общем отступлении.

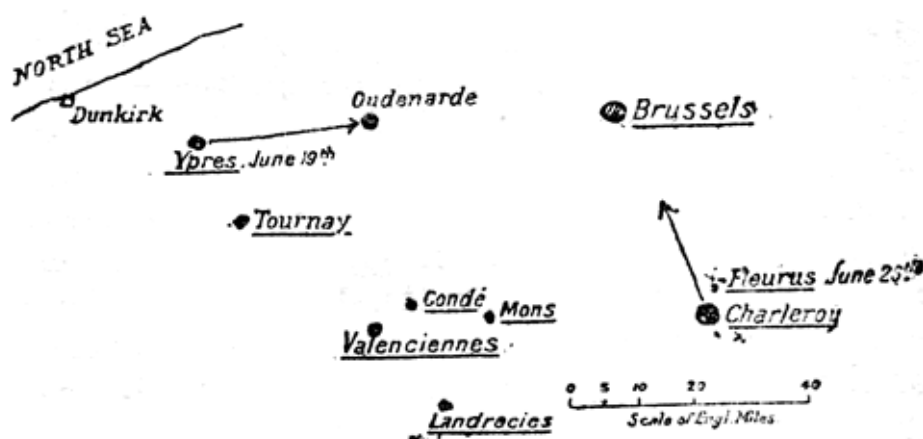
Я сказал, что приводится множество причин для объяснения катастрофы при Туркуэне, одной из немногих, в ходе которой британские войска были разгромлены на Континенте; но я признаюсь, что если бы меня попросили дать собственное объяснение, я бы сказал, что это было просто из-за вопиющего отсутствия синхронности действий со стороны союзников, и что это, в свою очередь, было использовано благодаря силе как бдительности, так и марширования, которую французские войска, все еще уступающие по большинству военных характеристик, развили и поддерживали, и которую (что более важно) их командиры знали, как использовать. использовать.

Этот тяжелый удар, нанесенный 18 мая, несмотря на успешный митинг неделю спустя, окончательно убедил императора в невозможности марша на Париж. Одиннадцать дней спустя, 29-го, в лагере Турне, на который отступила армия союзников, было объявлено, что император решил вернуться в Вену. Армия союзников действительно все еще оставалась на этом фронте, но французы продолжали наступать на нее. И снова их численность принесла следующую и окончательную победу.

Вдалеке, к востоку от той же линии, армия, известная в истории и песнях как армия Самбра и Мааса, яростно пыталась пересечь Самбр и обойти строй союзников. Кобург усилил свой правый фланг напротив французского левого, но численность начала сбивать его с толку. Энтузиазм Сен-Жюста, наука Карно определили победу на этом восточном конце линии.

Шесть раз переход через Самбру заканчивался неудачей. К армии продолжали поступать подкрепления, и седьмая попытка увенчалась успехом.

Шарлеруа, который является главной крепостью, блокирующей проход через Самбру в этом месте, мог быть захвачен, и был захвачен, когда однажды реку пересекли французы. Он капитулировал через неделю. Но эвакуация Шарлеруа была только что завершена, когда семидесятитысячный Кобург выступил на помощь городу.



Демонстрирующий эффект Ипра, Шарлеруа и Флерюса в полном отбрасывании союзников в июне 1794 года.

Ипр захвачен французами 19 июня, они идут маршем на Ауденарде и переходят ее 25-27 июня. Тем временем Шарлеруа также сдался французам, и когда сразу после этого австрийцы пытаются освободить его, они терпят поражение при Флерюсе и отступают к Брюсселю.

Таким образом, англичане в Турне и все союзные войска в Конде, Валансьене, Ландреси и Монсе находятся в опасности и должны сдаться или отступить.

[Увеличить карту](#)

Плато над городом, где решилась великая битва, известно как плато Флерюс, и именно там армии вступили в бой 26 июня. Никогда прежде столь равные силы не позволяли французам добиться успеха. До сих пор спасение страны заключалось в непрерывном наборе людей для обеспечения их недостаточной подготовки и командования. Во Флерюсе, хотя у французов все еще было некоторое преимущество, их количество было почти равным.

Исход сражения не определялся в течение десяти часов, и французы в центре и слева были почти потеряны, когда упорство Резервистов и Марсо перед самой деревней Флерюс наконец решило дело.

Последствия победы были окончательными. По мере того, как французские правые наступали от Флерюса, французские левые наступали от Ипра, и центр стал неприступным для союзников. Четыре французские крепости, в которых неприятель все еще размещал гарнизоны в том бельгийском "поясе", о котором я говорил, были окружены и вновь захвачены. К 10 июля французы были в Брюсселе, англичане были отброшены в Голландию, австрийцы отступили за Рейн, и постоянный успех революционных армий был обеспечен.

Однако, пока все это происходило на суше, в войне проявился фактор, который современное стремление к комфорту и, прежде всего, к коммерческой безопасности сильно преувеличило, но который изучающему не мешало бы отметить в должной пропорции. Этим фактором была военная слабость Франции на море.

В борьбу вступили флоты в простом численном соотношении примерно два к одному, в то время как к флоту Великобритании, уже вдвое превосходящему своего противника, следует добавить флоты союзников. Но численность не решала тогда и не будет решать в будущем проблему морской войны. Это было превосходство английской артиллерии, которое перевернуло чашу весов. Это триумфальное превосходство было доказано в битве 1 июня 1794 года.

Английский флот под командованием Лорда Хоу атаковал французский флот, который ожидал сопровождения конвоя с зерном в Брест; силы вступили в контакт 28 мая, и бой продолжался три дня.

Двух примеров должно быть достаточно, чтобы доказать, насколько решающим было огневое превосходство британцев. *Королева Шарлотта* в финальном действии оказалась зажатой между *Горой* и *якобинцами*. У нас есть цифры потерь во время дуэли этих двух флагманов. "*Королева Шарлотта*" потеряла сорок два человека в короткой и яростной перестрелке, только "*Монтань*" потеряла триста человек. Опять же, рассмотрим общие цифры. Количество экипажей с обеих сторон было почти равным, но их потери составили одиннадцать к пяти. Нельзя слишком часто повторять, что первоначальное преимущество, которое английский флот получил в Первой мировой войне, которое он сохранял и увеличивал по мере ее продолжения и которое он сделал абсолютным при Трафальгаре, было преимуществом, главным образом, благодаря пушкам.

Читатель не должен ожидать от очерка, заканчивающегося падением Робеспьера, какого-либо трактата, каким бы коротким он ни был, о влиянии морской мощи в революционных войнах. В последние годы это было сильно преувеличено, реакция, которая последует за этим преувеличением, может столь же сильно принизить его. Это предотвратило вторжение в Англию, это привело к раздражению и истощению французских войск на полуострове. Но это не могло решить судьбу Наполеона. Это было определено его русским просчетом и его последующим поражением под Лейпцигом.

На ранний успех революции и последовавшее за ней установление европейской демократии, о чем только и говорится на этих страницах, морская мощь не оказала существенного влияния.

СНОСКИ:

[6] Кстати, следует отметить, насколько верно, что это высочайшее военное качество является вопросом организации, а не физической мощи войск; в наполеоновских войнах маршевая мощь английских войск часто оказывалась исключительной, и, возможно, величайшим из всех подвигов, совершенных небольшим отрядом, была Легкая бригада, шедшая на помощь Веллингтону при Талавере.

[7] Я не должен, справедливости ради по отношению к читателю, пренебрегать огромным количеством мнений, от Жомини до классической работы мистера Фортескью о британской армии, в которой утверждается, что союзникам оставалось только замаскировать пограничные крепости и быстро продвинуть свою кавалерию по дороге на Париж. Историческая гипотеза никогда не может быть чем-то большим, чем предметом суждения, но я признаюсь, что мне всегда казалось, что эта точка зрения игнорирует — как вполне могут игнорировать чисто военные историки, особенно иностранные, — социальное положение “93-го”. Кавалерия - самое слабое из всех родов войск, с помощью которого можно противостоять спорадическому, неорганизованному, но решительному сопротивлению. Проезд по густонаселенной местности по парижской дороге можно сравнить с форсированием открытого города, и на *этом* никогда нельзя полагаться на кавалерию. Что касается армии, движущейся в целом без полной безопасности на своих коммуникациях, то этот вопрос даже не нуждается в обсуждении; и далее следует помнить, что в момент начала такого наступления немедленная концентрация войск с севера обрушилась бы на плохо охраняемые линии снабжения. Можно предположить, что Кобург знал свое дело, когда садился перед этой, последней из крепостей.

VI

РЕВОЛЮЦИЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ТНЕПоследний и наиболее важный из аспектов, которые Французская революция представляет иностранному, и в особенности английскому читателю, - это антагонизм, возникший между ней и церковью.

Поскольку это самая важная, то это и самая практическая из исторических проблем, которые Революция ставит перед изучающим; ибо противодействие церковной организации во Франции одновременно было самым глубоким, с которым Революции приходилось сталкиваться, самым активным по своим методам и единственным, сила которого со временем возрастала. Едва ли будет преувеличением сказать, что Революция достигла бы своей цели, по крайней мере во Франции, и создала однородную централизованную демократию, если бы не возникла эта великая ссора между Республикой и Церковью; и можно с полным основанием противопоставить легкую податливость людей политическим внушениям и легкую историю их институтов, когда люди ничего не знали о Церкви, с великими бурями, которые возникают, и фундаментальными распрями, которым бросают вызов везде, где люди знакомы со жгучими истинами католицизма.

Наконец, борьба между католической церковью и Революцией не только самая важная и практическая, но и, по несчастливому стечению обстоятельств, самая трудная для понимания из всех вопросов, представленных нам великими переменами.

Мы видели в этой книге, что один отдел революционной истории, возможно, второй по значимости после религиозного отдела, также был труден для понимания, а именно военный отдел. И мы видели (или, по крайней мере, я постулировал), что трудность отслеживания военной судьбы Республики была обусловлена массой деталей, техническим характером информации, которую необходимо было получить, и естественной неосведомленностью широкого читателя с элементами военной науки. Другими словами, только точное знание большого количества фактов, правильное расположение этих фактов в порядке их военной важности и взаимосвязь большого количества разрозненных действий и планов позволят нам понять функцию армий в развитии и становлении современного государства в ходе революционных войн.

Теперь в этой второй и более важной проблеме, проблеме функции, которую играет религия, это прямо противоположный метод, который единственный может быть полезен.

Мы должны исследовать область в целом, и еще в более общем плане мы должны забыть детали, которые здесь только сбивают с толку, и увидеть в максимально общих чертах, о каких силах действительно шла речь, почему произошел их конфликт, по каким пунктам этот конфликт был жизненно важным. Любой более конкретный план приведет нас, как он привел столько тысяч полемистов, к простым оскорблениям с той или другой стороны, пока мы не увидим ничего, кроме беспорядочной измены со стороны священников и массовых убийств со стороны демократов.

Если бы люди попытались распутать этот клубок, анализируя документы Ватикана или французских архивов, они, по-видимому, не пришли бы ни к чему, кроме множества мелких, низменных и часто личных расчетов; или, опять же, если бы они попытались взять местный образец борьбы и проследить его в каком-то одном направлении мысли, они не наткнулись бы ни на что, кроме водоворота конфликта без какого-либо ключа к мотивам, которые за ним стоят.

Контраст между военной и религиозной проблемой Французской революции подобен контрасту между геологическим составом и топографическими очертаниями сельской местности. Чтобы понять первый, мы должны пробурить скважину и раскопать, мы должны взять многочисленные образцы почвы и подвергнуть их анализу, мы должны ознакомиться с деталями до мельчайших подробностей. Но во-вторых, чем более общей является наша точка зрения, чем шире наш взгляд и чем более всеобъемлющими являются наши суждения, тем точнее мы улавливаем знания, которые намереемся получить.

Таким образом, мы должны подойти к нашему делу с самого начала, задав самый общий вопрос из всех: *“Существовало ли необходимое и фундаментальное противоречие между доктринами Революции и доктринами католической церкви?”*

Те, кто плохо знаком с той или иной стороной и, следовательно, плохо подготовлен к ответу, обычно уверенно отвечают утвердительно. Французский (и тем более нефранцузский) республиканец, который, возможно, волею судьбы пропустил католическую церковь, не был близок ни с одним католическим персонажем, не читал католической философии и, возможно, даже случайно не увидел ничего, кроме внешней католической церемонии, без колебаний отвечает, что Церковь - неизбежный враг Революции. Опять же, *эмигрант*,

богатая женщина, затворница, любой из многих современных типов, для которых демократическая теория Революции была совершенно в новинку, и в наши дни богатые семьи, придерживающиеся этой традиции, столь же без колебаний отвечают, что Революция - неизбежный враг Церкви. Ответ кажется вполне достаточным для сквайра-консерватора в Англии или Германии, который может оказаться католиком по рождению или в результате обращения; и он кажется столь же очевидным (скажем так) демократическому члену какой-нибудь протестантской церкви в одной из новых стран.

Исторически и логически, а также теологически, те, кто утверждает необходимый антагонизм между Республикой и Церковью, заблуждаются. Те, кто лучше всего подходит для подхода к проблеме, исходя из своих знаний как о том, что пыталась сделать Революция, так и о том, что такое католическая философия, обнаруживают, что пропорционально их знаниям трудно или невозможно ответить утвердительно на этот фундаментальный вопрос. Они не могут назвать Революцию неизбежным врагом Церкви или Церкви Демократии.

Более того, умы одновременно самого активного и наиболее образованного типа - это те самые умы, которым трудно объяснить, как могла возникнуть подобная ссора. Сама французская история полна имен тех, для кого не столько примирение между Революцией и Церковью, сколько утверждение о том, что между ними не было реальной ссоры, было мотивом политики; и почти пропорционально знанию человеком своих собратьев по католическому обществу, почти в такой же пропорции на главный вопрос, который я задал, такой человек ответил отрицательно. Человек, знающий и Веру, и Республику, скажет вам, что нет и не может быть никакой необходимой или фундаментальной причины, по которой должен был возникнуть конфликт между европейской демократией и католической церковью.

Когда мы исследуем тех, кто интересуется самой глубокой и абстрактной стороной ссоры, мы обнаруживаем то же самое. Богослов или даже практический церковный учитель не может указать пальцем на политическую доктрину, необходимую для Революции, и сказать: "Эта доктрина противоречит католической догме или католической морали". И наоборот, республиканец не может указать пальцем на вопрос церковной дисциплины или религиозной догмы и сказать: "Этот католический пункт противоречит моей политической теории государства".

Тысячи активных людей с обеих сторон были бы только рады в течение последних ста лет обнаружить какую-нибудь подобную проблему, но она оказалась неразрешимой. Одним словом, только те демократы, которые мало знают о католической церкви, могут сказать, что по своей природе она запрещает демократию; и только те католики, которые имеют запутанное или несовершенное представление о демократии, могут сказать, что по своей природе она антагонистична католической церкви.

Многое из того, чему учит чисто временная теория одного, безразлично к трансцендентальной и сверхъестественной философии другого. В некоторых моментах, где есть контакт (например, в концепции достоинства человека и равенства людей), существует согласие. Подводя итог, можно сказать, что республиканец не может по своей теории преследовать Церковь; Церковь не может по своей теории отлучить республиканца от Церкви.

Почему же тогда, следует затем спросить, на практике возник такой яростный и столь масштабный конфликт, конфликт, активность и последствия которого сегодня не сужаются, а расширяются?

На этот второй вопрос, который лишь менее общий, чем первый, можно ответить одним из двух способов.

Можно сказать, что действия людей разделяются не теориями, а как бы духовной атмосферой. Согласно этой точке зрения, люди действуют под влиянием импульсов, не идеальных, а реальных: импульсов, которые затрагивают большое количество людей и все же по своей структуре соответствуют сложным, но объединенным импульсам отдельной личности. Таким образом, хотя между теологией католической церкви и политической теорией Революции нет очевидного конфликта, все же может существовать необходимый и фундаментальный конфликт между *Личностями*, Которых мы называем Революцией, и Церковью, а также между оживляющими принципами, по которым живет каждая из них. Это единственный ответ, который может быть дан и уже дан.

Или кто—то может дать совершенно иной ответ и сказать: “Между теологией католической церкви и политической теорией революции не было разногласий; но глупость этого государственного деятеля, неправильная разработка этого закона, неправильное представление о таком-то институте, совпадение того, что война вспыхнула в такой-то момент и затронула людей таким-то образом - все эти материальные случайности породили недопонимание между двумя великими силами, привели к конфликту между человеческими офицерами и человеческими организациями, которые ими руководили; и конфликт, однажды возникший, питается и вырастает из своей собственной субстанции”..”

Теперь, если дать эту первую форму ответа на поставленный нами вопрос, хотя этого достаточно для того типа философии, который его использует, хотя это, безусловно, объясняет все человеческие ссоры, и хотя это, в частности, удовлетворяет определенной современной школе мысли, очевидно, что история, в собственном смысле этого слова, не может иметь с этим дела.

Вы можете сказать, что Революция была выражением духа, гораздо более реального, чем любая теория, что этот дух не более поддается анализу или определению, чем личность отдельного человека, и что эта реальность находилась в конфликте с другой реальностью, а именно с католической церковью. Вы можете даже (как это сделали некоторые умы, отнюдь не ничтожные) перейти в область мистицизма в этом вопросе и утверждать, что действительно личные силы, воля, превосходящая и внешняя по отношению к человеку, Демоны и Ангелы, привели к Революции против Католической Церкви и сделали Республику антикатолической силой, способной встретиться с этой Церковью и победить ее, которая (по ее собственному определению) является не теорией, а выражением Личности и Воли. Выражаясь старомодными терминами, вы можете сказать, что Революция была делом рук антихриста; но с такого рода ответом, повторяю, история не может иметь дела.

Если верно, что, несмотря на отсутствие противоречивых интеллектуальных теорий, между Революцией и католической церковью существует фундаментальное духовное противоречие, тогда время проверит дело; мы увидим в этом случае бесконечное продолжение ссоры до тех пор, пока Революция не станет главным фактором уничтожения католицизма, а католическая церковь не покажется стороннику Революции не главным, а единственным врагом. Такого развития событий не происходило уже сто лет; только

гораздо более длительный временной процесс позволит нам судить, является ли предполагаемая дуэль реальным делом или фантазией.

Второй тип ответов, которые претендуют на объяснение антагонизма определенной серией событий, действительно интересуется историка.

Следуя этому второму ответу, он может применить свою науку и использовать инструменты своего ремесла; и он может показать (как я предполагаю показать в дальнейшем), что, хотя между теорией Революции и теорией Церкви нельзя найти разногласий, на самом деле между действующей революцией и властями католицизма возникла активная ссора; ссора, которую столетие не утихомирило, а усугубило.

За революционной распрей стояло положение Церкви во французском государстве после урегулирования распри времен Реформации.

С тем, что представляла собой эта ссора Реформации, читатель достаточно знаком. В течение, грубо говоря, ста лет, с первых лет шестнадцатого века по первые годы семнадцатого (от юности Генриха VIII до отрочества Карла I в Англии), была предпринята великая попытка изменить (как сказала бы одна сторона - внести поправки, как сказала бы другая - денатурировать) *все тело* Западного христианского мира. *Всеобщее* движение нападков на унаследованную форму Церкви и общее сопротивление этой атаке действовали во всей европейской цивилизации; и оба противника надеялись на всеобщий успех: один - на то, что он называл "Реформацией религии", другой - на то, что он называл "Божественным учреждением и видимым единством Католической церкви".

По истечении такого периода стало очевидно, что такого общего результата достигнуто не было и быть не могло. Вся та часть Запада, которая отвергла власть Римского престола, стала казаться отдельной территориальной областью, навсегда отделенной от остальных; вся та часть Европы, которая сохранила власть Римского престола, стала казаться другим территориальным регионом. Линия раскола между ними начинала определяться как географическая линия и почти соответствовала линии, которая столетия назад отделяла рим и цивилизованный мир от варваров.

Провинцию Британия постигла исключительная судьба. Несмотря на римское происхождение и древнюю цивилизацию в своей основе, она находилась на не римской стороне новой границы; в то время как Ирландия, которую Римская империя никогда не организовывала и не инструктировала, оставалась единственной из внешних частей Европы в общении с Римом. Италия, Испания и в основном южная, или романизированная Германия, в конечном счете отказались от своих традиций цивилизации и религии. Но в Галлии было иначе — и действия Галлии во время Реформации должны быть изучены, если мы хотим понять ее современные религиозные распри. Весьма значительная часть французского землевладельческого и торгового сословия, то есть богатых людей страны, симпатизировала новым религиозным доктринам и новой социальной организации, которые теперь пустили корни в Англии, Шотландии, Голландии, северной Германии и Скандинавии и которым было суждено привести в этих странах к господству богатства. Этих французских оруженосцев и торговцев называли гугенотами.

Последующие сто лет, скажем, с 1615 по 1715 год, были урегулированием, не без кровопролития, неудовлетворенной ссоры предыдущего столетия. Все англичане знают, что произошло в Англии; как были уничтожены последние остатки католицизма и все социальные и политические последствия протестантизма закрепились в государстве.

Даже в том же семнадцатом веке была предпринята отдельная, но тщетная попытка уничтожить католицизм в Ирландии. В Германии борьба с предельным насилием привела лишь к аналогичному региональному результату. Первая треть этого столетия завершилась Вестфальским миром и оставила протестантские и католические территориальные деления во многом такими, какими мы их сейчас знаем.

Во Франции, однако, сохранялся своеобразный феномен организации, могущественной по численности и (что было гораздо важнее) по богатству и социальной власти, рассеянной по всей территории королевства, организованной и к этому времени твердо настроенной против католицизма, а следовательно, и против нации.

Нация восстановила свою традиционную линию и настаивала на победе сильной исполнительной власти, и эта исполнительная власть - католичка. Таким образом, Франция в этот период становления стала абсолютной монархией, глава которой обладал огромной и непосредственной властью, и монархией, которая вобрала в себя все великие элементы национальной традиции, *включая Церковь*.

Конечно, имя Людовика XIV символизирует это великое время; его очень долгое правление точно соответствует ему. Он родился одновременно с той всеобщей борьбой за религиозное урегулирование в Европе, которую я описал как характерную для того времени; он умер точно в конце ее; и при нем казалось, что восстановленная мощь Галлии и защита организованного католицизма должны были стать синонимами.

Но в этом однородном теле, которым, по-видимому, командовал Людовик XIV, были два элемента разлада. Сам факт того, что Церковь, таким образом, стала во Франции непоколебимым национальным институтом, охладил жизненный источник католицизма. Иерархия не только испытывала постоянное подозрение к Римскому престолу и играла с концепцией национальной независимости, но они и вся официальная организация французского католицизма ставили безопасность национального истеблишмента и его тесную привязанность к общей политической структуре государства далеко за рамки святости католических догм или практики католической морали.

Эта политическая структура — французская монархия — казалась высеченной из гранита и вечной. Если бы она действительно выжила, Церковь в Галлии, несомненно, несмотря на свою привязанность к такой мирской вещи, как корона, все еще выжила бы, чтобы насладиться одним из тех воскрешений, которые никогда не подводили ее в прошлом, и вернулась бы, благодаря какой-то творческой реакции, к своему жизненному принципу. Но на данный момент следствием этого устоявшегося политического истеблишмента стало то, что скептицизм и все те другие активные силы разума, которые играют на религии в любом католическом государстве, получили полную возможность. Церковь была, так сказать, озабочена не самозащитой, а только своим методом существования. Это было похоже на то, как если бы гарнизон, забыв об основных средствах обороны какого-либо места, сосредоточил все свои усилия на обеспечении безопасности одного объекта, где хранились запасы продовольствия.

Остроумию, хорошим стихам, искреннему энтузиазму, ясному изложению всего, что в человеческом разуме постоянно восстает против трансцендентных утверждений, были предоставлены все возможности, но они не вызвали эффективного ответа. Но открытые акты неуважения к церковной власти карались сурово.

В то время как в богатых, бюрократических и правящих классах высмеивание Веры считалось само собой разумеющимся, серьезно нападать на привилегии или положение ее служителей было не по-джентльменски и не допускалось. Иерархию не шокировало, что один из ее апостольских членов оказался остроумным атеистом; что другой отправился на охоту на Тело Христово, чуть не опрокинул Освященное Причастие во время своей скачки и забыл, в какой день произошел несчастный случай. Епископы не находили ничего примечательного в том, что большая часть их тела представляла собой распущенную печень, или в том, что некоторые из них открыто представляли своих друзей своим любовницам, как это мог бы сделать любой знатный мирянин из их окружения. То, что епархия или любое другое духовное ведомство было отделено от своего титулованного начальника, казалось им таким же естественным, как и нам отсутствие в его современном полку какого-нибудь титулованного иностранного полковника. Епископы также не подвергали сомнению бедность, пренебрежение и необразованность приходского духовенства; более того — и это, безусловно, главная черта — отказ от религии всеми, за исключением очень немногих из миллионов французов, повлиял на церковных чиновников того времени не больше, чем голодная смерть наших бедняков влияет, скажем, на одного из наших профессиональных политиков. Это было просто само собой разумеющимся.

Читатель должен уловить это умирающее состояние религиозной жизни Франции накануне революции, поскольку оно сразу же не совсем улавливается большинством историков, а также является единственным фактом, который полностью объясняет то, что последовало за этим. Упадок Веры в восемнадцатом веке - это негативный фундамент, на котором вот-вот должен был зародиться странный религиозный опыт французов. Франция за поколение до революции переживала фазу, когда католическая вера находилась в более низком упадке, чем когда-либо с момента ее проповеди и утверждения в Галлии.

Эта истина скрыта не одним обстоятельством. Таким образом, многие официальные действия, особенно браки и регистрация рождений, совершались в католической форме, и действительно, католические формы обладали монополией на них. Опять же, государство носило, так сказать, католическую одежду: пышные публичные мероприятия были полны религиозных церемоний. Мало кто из представителей среднего класса ходил к мессе в больших городах, почти никто из ремесленников; но церкви были “официальными”. В распоряжении Церкви были огромные суммы денег, в том числе официальных, а великие священнослужители были людьми, от которых можно было получить солидные благосклонности. И снова историческая правда замаскирована языком и точкой зрения великой католической реакции, которая произошла в наше время.

Можно с уверенностью сказать, что там, где один взрослый представитель образованных классов серьезно относился к католической вере и практике во Франции до революции, сегодня таких пять. Но между ними лежит жестокий эпизод преследования, и католическая реакция в наше время постоянно стремится противопоставить предполагаемое дореволюционное “католическое” общество революционной ярости. “Посмотрите, ” говорят ее сторонники, - на то, как ужасно Революция обошлась с Церковью”. И когда они говорят это, обратная истина кажется очевидной, и они, кажется, подразумевают: “Подумайте, насколько все должно было быть по-другому до того, как Революция преследовала

Церковь!" Сама жестокость современной реакции на католицизм преувеличила революционные преследования и при этом заставила людей забыть, что, помимо других свидетельств упадка религии, очевидно, что преследования никогда не могли возникнуть без сильной и постоянной исторической поддержки. У вас не могло бы быть Диоклетиана в тринадцатом веке с духом крестоносцев, непосредственно предшествовавшим ему; у вас не могло бы быть Генриха VIII, если бы Англия пятнадцатого века, непосредственно предшествовавшая ему, была Англией, посвященной монашеству. И у вас не было бы революционной ярости против католической церкви во Франции, если бы предыдущее поколение было активными католиками, даже в значительной части.

На самом деле, конечно, это было не так: и в массовом безразличии или ненависти к Церкви главным фактором было строгое братство не столько Церкви и государства, сколько Церкви и исполнительной власти.

Но был и другой фактор. Немного ранее мы описывали, как во Франции во время движения Реформации возникло богатое, могущественное и многочисленное объединение гугенотов. Просто численно оно сократилось, но на протяжении всего семнадцатого века сохраняло очень высокое положение, как в плане привилегий, так и (что было его характерной чертой) денежной власти; и даже сегодня, хотя уровень их рождаемости, конечно, ниже, чем в среднем по стране, французских гугенотов насчитывается около миллиона, и в среднем они намного богаче своих сограждан. Именно их богатство доминирует в торговле определенных округов, что оказывает столь большое влияние на университеты, издательскую деятельность и прессу; и в целом придает им такой вес в делах нации.

Итак, у гугенотов во Франции была особая и постоянная вражда с монархией, а следовательно, и с католической церковью, которая именно потому, что она не была той яркой и интенсивной, которая ассоциируется с популярными и универсальными религиями, была более тайно повсеместной. Его спор заключался в том, что он почти столетие пользовался высокими привилегиями члена "государства в государстве" и более чем на протяжении поколения мог проводить собрания отдельно от национального правительства и часто в антагонизме с ним, но эти привилегии были внезапно отняты у него правительством Людовика XIV за столетие до революции. Ссора была скорее политической, чем религиозной; это была своего рода ссора из-за "Самоуправления". Ибо, хотя гугеноты были распространены по всей Франции, они владели особыми городами и территориями, где их дух и, в определенной степени, их частное самоуправление образовывали *анклавы* партикуляризма внутри государства.

Они занимали эту позицию, как я уже сказал, почти сто лет, и только после насильственного урегулирования религиозных проблем в Англии путем изгнания Якова II подобное урегулирование, менее насильственное, достигло (как считалось) аналогичного религиозного единства во Франции. Но этого единства достигнуто не было. Гугенотам, хотя им больше и не разрешалось существовать как государству в государстве, в течение ста лет, прошедших между отменой Нантского эдикта и началом революции, оставались могущественной и постоянно бдительной организацией. Они стояли на фланге атаки интеллектуального скептицизма на католическую церковь, они были готовы воспользоваться первой политической победой этого скептицизма, и после Революции они были самыми могущественными и, после масонов, с которыми они в значительной степени отождествляются, наиболее организованными из антиклерикальных сил в стране.

Евреи, чьи действия после Революции были столь примечательны в том же самом деле, в период, непосредственно предшествовавший ей, не имели сколько-нибудь значительного влияния, и их элементом в коалиции можно пренебречь.

Таким, значит, было положение, когда готовилась Революция. На памяти всех живущих людей Церковь становилась все более и более официальной, массы крупных городов полностью утратили с ней связь; интеллект страны в основном был привлечен к деистической или даже чисто скептической пропаганде, могущественная организация гугенотов была готова к союзу с любым врагом католицизма, и в глазах обедневшего городского населения — особенно в Париже, который давно отказался от религиозной практики — человеческая организация Церкви, иерархия, духовенство и немногочисленные, но очень богатые религиозные ордена, которые все еще оставались в силе, во все уменьшающемся количестве они были всего лишь частью привилегированного мира, которую население ненавидело и было готово уничтожить.

Именно в таком духе и в таких условиях национальной религиозной жизни начинает действовать Революция. В Национальном собрании у вас есть огромная палата общин, которая определяет все, лишь кое-где соприкасающаяся с людьми, так или иначе знакомыми с католической практикой или преданными ей, и эти люди по большей части индивидуальны и эксцентричны, то есть не католичны, почти пропорционально искренности их религиозных чувств. Среди знати религиозная практика была у некоторых социальной привычкой — как ментальный настрой вера была забыта всеми, кроме очень немногих. Среди духовенства преобладала очень богатая иерархия, никто из которых не был готов защищать Церковь философскими аргументами и почти единодушно рассматривал ее как часть старой политической машины; в то время как представители низшего духовенства, сильно демократичные по характеру, поначалу были больше заняты установлением демократии, чем надвигающейся атакой на материальную и временную организацию Церкви.

Итак, эта материальная и временная организация в самом начале дебатов предоставила возможность для нападков, которую не смогло предоставить ни одно другое ведомство старого режима.

Непосредственная опасность для государства была финансовой. Предлогом и даже в какой-то степени мотивом созыва Генеральных штатов была необходимость найти деньги. Старый фискальный механизм вышел из строя, и, как это всегда бывает, когда выходит из строя фискальный механизм, связанные с этим трудности и давление на отдельных людей, которое оно оказывало, оказались всеобщими. *Не было никакого немедленного и легкодоступного фонда богатства, на который Исполнительная власть могла бы наложить руки, кроме богатства духовенства.*

Феодальные повинности дворян, если от них отказаться, должны падать скорее на крестьянство, чем на государство. Из существующих налогов лишь немногие можно было бы увеличить без риска, и ни один не имел бы какой-либо перспективы получения большого дополнительного дохода. Плата только за погашение долга составляла половину от общего объема поступлений государства, дефицит был, пропорционально доходам, огромным. Столкнувшись с этим лицом к лицу, вы столкнулись с непопулярным учреждением, чьи общественные функции выполняла лишь небольшая часть населения, с учреждением, доходы которого были распределены крайне неравномерно, и с учреждением, чья феодальная собственность приносила в виде налогов сумму, равную более чем четверти

общего дохода государства. Добавьте к этому систему десятины, которая снова приносила почти столько же, и станет очевидно, какому финансовому искушению подвергалась Ассамблея.

Конечно, можно возразить, что право Церкви на эту церковную собственность, будь то земля или десятина, было абсолютным, и что конфискация той или иной формы дохода была простым воровством. Но такова не была юридическая концепция того момента. Богатство Церкви не даже (и это самое примечательное) защищалось как абсолютная собственность большинством тех, кто им пользовался. Тон дебатов, в ходе которых отменялась десятина, а позже конфисковывались церковные земли, был тоном обсуждения юридических вопросов, прецедентов, общественной полезности и так далее. В нем не прозвучало ни в какой реальной степени утверждения простого морального права, хотя в то время моральные права собственности были одними из первых политических доктрин.

Однако не конфискация церковных земель и отмена десятины послужили причиной ссоры между революцией и духовенством. Никакие финансовые или экономические изменения никогда не являются чем-то большим, чем подготовкой или разрешающим условием моральных изменений. Они никогда не являются причиной моральных изменений. Даже подавление религиозных домов в начале 1790 года не следует воспринимать как отправную точку в великой ссоре. Религиозные ордена во Франции были в тот момент слишком малочисленны, слишком богаты и слишком удалены от жизни нации, чтобы это могло иметь место. Истинной исторической отправной точкой, с которой мы должны датировать начало этого глубокого спора между революцией и католицизмом, является утро 30 мая 1790 года, когда парламентский комитет (Церковный комитет) представил Палате представителей свой план реформы Конституции Церкви в Галлии.

Чудовищность этого акта теперь очевидна всему миру. Предложение по указке случайных представителей, не избранных *ad hoc*, изменить епархии и престолы Католической Франции, решение эфемерного политического органа ограничить такими—то узами (и они были очень слабыми) связь между Французской Церковью и Святым Престолом, упразднение Соборных капитулов, кажущееся фарсовым предложение о том, что епископы должны избираться, более того, священники также выбираются таким образом, подчинение иерархии в вопросах проживания и поездок гражданской власти, которая открыто заявила о своем безразличии к вопросам религии, - все это сбивает с толку современный разум. Как, спрашиваем мы, могли люди столь образованные, с таким энтузиазмом, такие трудолюбивые и так тесно соприкасающиеся со всеми реалиями своего времени, совершить ошибку такого масштаба? Более того, как такая грубая ошибка избежала проклятия всеобщего посмешища и немедленного бессилия? Ответ следует искать в том, что только что было изложено с такой настойчивостью: временное затмение религии во Франции перед началом Революции.

Люди, составлявшие Конституцию духовенства, люди, голосовавшие за нее, нет, даже люди, выступавшие против нее, - все они имели в глубине души три концепции, которые они пытались согласовать: из этих трех концепций одна была совершенно неверной, одна была несовершенной, потому что поверхностной, только третья была истинной. И эти три концепции заключались, во-первых, в том, что католическая церковь была отмирающим суеверием, во-вторых, что она обладала в своей организации и традициях силой, с которой приходилось считаться, и, в-третьих, что государство, его органы и их корпоративное наследие действий были настолько связаны с католической церковью, что было невозможно добиться какого-либо общего политического урегулирования, при котором

этим органом, как внешним по отношению к Франции, так и внутренним, следовало пренебречь.

Если бы первая из этих трех концепций была столь же верна, как и последняя, она спасла бы Конституцию Духовенства и репутацию здравомыслящих тех, кто ее сформулировал.

Безусловно, католицизм на протяжении стольких веков был связан рамками государства, и поэтому парламент должен был что-то сделать с Церковью в общем урегулировании ситуации в стране: он не мог просто оставить Церковь в стороне.

Также было поверхностно верно то, что Церковь была силой, с которой приходилось считаться политически, совершенно независимо от традиционного союза Церкви и государства, — но это было правдой лишь поверхностно. Чего опасались революционные политики, так это интриг тех, кто руководил организацией католической церкви, людей, которые, как они знали, по большей части были безрелигиозны, и в искренности всех, в ком они, естественно, сомневались. Менее поверхностное и более основательное суждение по этому поводу обнаружило бы, что реальная опасность заключалась во враждебности или интригах против Гражданского устройства, не со стороны коррумпированной иерархии, а со стороны искреннего, хотя и плохо обученного и редющего меньшинства, которое все еще было преданно доктринам и дисциплине Церкви. Но даже это поверхностное суждение не было бы фатальным, если бы решение Национального собрания не было на самом деле ошибочным по первому пункту — жизненности Веры.

У Католической Церкви были, как и почти все образованные люди тогда представляли, дышавший на ладан суеверия, уже на этапе упадка, через которые он проходил, был этап сопоставим с помощью которых другими религиями прошли в свои последние минуты, если бы она опиралась на древние семьи от простых традиции, прижалась к дистанционным крестьян от простого невежества и изоляции, брошенного (как и было) в городах просто потому, что городов было больше возможностей для интеллектуального просвещения и приобретения начальных знаний в области истории и естественных наук; было, одним словом, воображаемая картина, которую эти люди рисовали в своем сознании Католической Церкви и ее судьба была точной, то гражданская Конституция духовенства было бы действовать по-государственному. Это позволило бы власти католической церкви в тех районах, которые она все еще сохраняла, исчезнуть медленно и без потрясений. Оно предложило содержать за разумную плату служителей ритуала, который, по-видимому, утратил бы всякую жизнеспособность еще до того, как умер бы последний из его приверженцев; оно, так сказать, подготовило бы постель, на которой последний представитель католицизма в Галлии мог бы мирно скончаться. Действия политиков по разработке Конституции с каждым десятилетием казались бы все более щедрыми, а их мудрость в том, чтобы не оскорблять тех немногих, кто все еще оставался верным, вызывала бы все большее одобрение.

С другой стороны, и с точки зрения государственного деятеля, Гражданская конституция Духовенства строго привязывала его к государству и возлагала на него ответственность за те древние функции, которые еще не умерли, епископства и всего его окружения. Со стороны Ассамблеи было мудрым и справедливым соображением, что религии сохраняют свой механизм еще долго после того, как они умерли, и если этот механизм когда-либо был государственным, он должен оставаться под контролем государства: и подчиняться не только до того момента, когда живая сила, которая когда-то оживляла его, иссякнет, но и

гораздо дольше; фактически, до того момента, когда уцелевшие институты мертвой религии сломаются и погибнут.

Так утверждали Национальное собрание и его комитет, и, повторяю, этот аргумент был справедливым и присущим государственному деятелю, благоразумным и дальновидным, за исключением одного просчета. Католическая церковь не была мертва и даже не умирала. Она проявляла многие симптомы, которые в других организмах и институтах соответствуют приближению смерти, но католическая церковь - это организм и учреждение, совершенно непохожие ни на какие другие. Она плодоносит и разрастается немедленно при прикосновении смертоносного оружия; в основе ее лежит представление о том, что материальное процветание душит ее, а бедность и несчастья питательны.

Члены Национального собрания поступили бы более мудро, если бы они внимательно изучили историю Ирландии (тогда еще малоизвестную) или хотя бы познакомились с методами, с помощью которых католическая церковь в Британии, пройдя в пятнадцатом веке через фазу, несколько похожую на ту, в которой она находилась в Галлии в восемнадцатом веке, была подавлена при Генрихе и Елизавете.

Но желание людей 1789 года состояло не в том, чтобы убить Церковь, а в том, чтобы позволить ей умереть; они думали, что она умирает. Их желанием было только сделать эту смерть достойной, не причинившей вреда нации, и контролировать политические действия иерархии, которая была богатой и была связана со старым обществом, которое рушилось со всех сторон.

Гражданское устройство духовенства потерпело неудачу: оно разожгло гражданскую войну, оно вырыло яму, отделившую католицизм от Революции в момент иностранного вторжения, оно отделило лояльного священника таким образом, что его орден не мог не казаться населению орденом предателей, и это привело в горниле 1793 года к великим гонениям, воспоминания о которых до сих пор не восстановились в отношениях между французской демократией и Церковью.

Важно проследить фактические этапы сбоя; ибо, когда мы осознаем, каковы были сроки, насколько мало времени оставалось для вынесения решения или пересмотра, и насколько немедленно за ошибкой последовала катастрофа, мы можем понять, что последовало, и мы не можем понять это никаким другим способом.

Если мы обнаружим длительную ссору между двумя семьями, причину раздора которых мы не можем уловить и взаимную враждебность которых мы находим необоснованной, узнать, что она произошла в результате катаклизма, слишком быстрого и жестокого, чтобы кто-либо из них мог судить о нем, позволит нам извинить или, по крайней мере, понять стойкость их антагонизма. Итак, это был катаклизм, который обрушился на отношения Церкви и государства сразу же после ошибки, совершенной парламентом; катаклизм, совершенно несоизмеримый их намерениям, как, впрочем, и большинство внезапных бедствий, совершенно несоизмеримых силам, которые их вызывают.

Как мы видели, летом 1790 года — 12 июля — Ассамблея утвердила Гражданский устав духовенства. Но король согласился подписать только 26 августа. На данный момент также не было никаких попыток ввести закон в действие. Протесты епископов, например, прозвучали совершенно не спеша, в октябре месяце, и действующий принцип всей Гражданской конституции, а именно принесение Гражданской присяги, которую должны были принести священнослужители, даже не обсуждался до конца года.

Эта гражданская присяга, которая иногда используется в качестве пугала в данном вопросе, была не более чем обязательством с санкции клятвы, что принимающий ее епископ или священник будет поддерживать новый *режим*, хотя этот *режим* включал конституцию духовенства; клятва не предполагала прямого нарушения католической доктрины или практики. Навязывать это было, действительно, глупостью, и это была глупость, основанная на невежестве политиков (и многих епископов того времени) относительно природы католической церкви. Но присяга не была и не предполагалась мерой преследования. Многие приходские священнослужители приняли его, и большинство из них, вероятно, приняли его добросовестно: тот факт, что от присяги отказались все, кроме четырех действующих епископов, также не дискредитировал присягу в глазах общественности, поскольку состояние иерархии в дореволюционной Франции было печально известно. Действия епископов казались в глазах общественности чисто политическими, и готовность принять присягу столь многими, хотя и меньшинством, представителями низшего духовенства убедительно свидетельствовала в их пользу.

Тем не менее, ни один католический священник, епископ или мирянин не мог принести эту клятву, не уличив себя в нелояльности к своей религии; и это по той же причине, которая побудила святого Фому Кентерберийского выступить с любопытной и плодотворной позицией против разумных и неизбежных, равно как и против неразумных, правительственных постановлений его времени. Католическая церковь - это институт, по необходимости автономный. Она не может признать права какой-либо другой силы, внешней по отношению к ее собственной организации, навязывать ей изменение ее дисциплины или, прежде всего, новую концепцию ее иерархической организации.

Читатель должен тщательно различать принятие Церковью некоторых деталей экономической реформы, согласие на подавление корпорации по требованию гражданской власти или даже отказ от определенных традиционных политических прав и признание общего принципа гражданского контроля. Этому общему принципу Собрание, разрабатывая Конституцию Духовенства, было совершенно очевидно привержено. Признавать такую согласованную внешнюю и гражданскую власть, или, скорее, признавать *превосходящую* внешнюю власть, теоретически означает отрицать принцип католицизма, а на практике превращать католическую церковь в то, чем стали другие государственные религии христианского мира.

Я уже говорил, что дебаты по поводу предложения принудить духовенство к принесению присяги начались только в конце 1790 года.

Тот факт, что принуждение вообще должно было стать предметом обсуждения, является странным комментарием ко всему делу. Можно было бы предположить, что это должно было вытекать из закона. Но действия Ассамблеи были настолько исключительными и, как они теперь начинали понимать, настолько опасными, что потребовался специальный указ — и подпись короля под ним, — прежде чем это нормальное последствие меры, которая была законом в течение нескольких месяцев, могло быть реализовано.

Здесь пусть читатель сделает паузу и задумается, с чем совпал этот момент — с концом 1790 года.

Ассигнации, бумажные деньги, выпущенные под залог конфискованного церковного имущества, уже обесценились на 10 процентов. Те, кто первыми приняли их, платили по всей Франции по пенни ливром, или, как мы можем выразиться, по пенни фартингу с

шиллинга, за то, что большинству из них, должно быть, казалось упрямством одной — единственной корпорации — и притом непопулярной — против постановлений Национального собрания.

Это был момент, когда впервые начала формироваться определенная реакция против революции, и когда население впервые начало с тревогой подозревать ее; это был момент, когда Двор начал вести переговоры о бегстве; это был момент, когда (хотя население этого не знало) Мирабо советовал королю из всех сил воспользоваться исполнением клятвы священников как возможностью для гражданской войны.

Весь воздух той зимы был пропитан сомнением и тайной: в умах всех, кто с энтузиазмом следил за ходом революции, короткие дни того жестокого холода 1790-91 годов содержали приступы отчаяния, и очень короткого периода должно было хватить для того, чтобы принести духовную присягу не только как испытание демократии в борьбе с реакцией, но и как клин, который должен был расколоть нацию надвое.

С самого начала нового года, 4 января, епископы и священники в Собрании были вызваны для принесения присяги королю, Нации и Закону; но этот закон включал в себя Гражданскую конституцию духовенства, и они отказались. В течение трех месяцев Мирабо был мертв, бегство короля было предreshено, подозрения Парижа были доведены до белого каления, присяга принималась или отвергалась по всей Франции, а священники — раскольники вводились в свои приходы — можно себе представить, с каким шумом и со сколькими деревенскими ссорами! В те же две недели появилось папское послание, долгое время откладывавшееся и известное как “*Caritas*”, осуждающее Гражданское устройство духовенства. Шесть недель спустя, в конце мая, папский представитель при французском дворе был отозван, и этим актом была объявлена религиозная война.

На протяжении всей этой ссоры, которая длилась теперь ровно год, но острая фаза которой длилась всего шесть месяцев, каждое действие любой из ее сторон неизбежно вело к тому, чтобы сделать конфликт более ожесточенным. Не только не было возможности для примирения, но по самой природе вещей самый умеренный адвокат должен был становиться на ту или иную сторону, и каждый публичный акт, который каким-либо образом затрагивал болезненную тему, хотя и затрагивал лишь косвенно и без желания действующих лиц разжечь страсти момента, немедленно воспринимался как провокация с той или иной стороны.

Это было неизбежно, учитывая население, отказавшееся от религиозной практики, привязанность клерикальной организации к организации старого *режима*, строгие узы дисциплины, которые объединяли духовенство Церкви во Франции в одно целое, и, прежде всего, необходимость, с которой столкнулась Революция на этом этапе, найти определенного и осязаемого врага.

Этот последний момент имеет первостепенное значение. Общественное мнение было раздражено и распалено, поскольку король, как было известно, был противником демократического движения; тем не менее, он подписал законопроекты, и его нельзя было открыто критиковать. Королева, как было известно, была яростной противницей этого, но фактически она не управляла страной. Правительства Европы были известны как противники, но еще не появилось дипломатической ноты, из которой общественное мнение могло бы сделать объект для нападок.

Соппротивление, таким образом, оказываемое духовенством Гражданскому Устройству, имело именно тот эффект, который оказывает ядро при кристаллизации некоторого раствора. Это поляризовало энергии Революции, создало определенный фон, определенный негатив, определенный контрапункт, определенную опору. Проблема была простой. Люди, одетые в специальную форму, выполняющие известные функции, играющие известную роль в обществе, а именно священники, теперь по большей части были врагами новой демократической конституции, которая находилась в стадии подготовки. Они не приносили ему клятву верности: они повсюду тайно восстали против него, а там, где их лишали лекарств, - открыто восстали. Следовательно, духовенство, то есть духовенство, не являющееся юристом (а послушное духовенство было экспериментом, который вскоре превратился в фикцию), после апреля 1791 года было в глазах всех демократов того времени самой простой и ощутимой формой оппозиции демократии.

К тому, как я представил проблему, можно было бы добавить гораздо больше. Сам факт того, что демократическое движение возникло после периода неверия и по своей сути было не католическим, привел бы к возникновению этой ссоры. Так же как и необходимая привязанность католика к власти и легкая путаница между принципом власти и притязаниями традиционной монархии. Опять же, элементы тщеславия, материальной жадности и ложной завершенности, которые можно обнаружить в любой чисто демократической теории государства, в совокупности всегда будут приводить эту теорию к некоторому конфликту с религией. Столетия, в течение которых трон и алтарь служили символами-близнецами, особенно во Франции, сама терминология религиозной метафоры, выкованная за столетия существования монархических институтов в Европе, способствовали возникновению великой ссоры. Но, я повторяю, явным актом, без которого ссора никогда не смогла бы стать тем ужасающе важным событием, которое она совершила, главной ошибкой, разрушившей единство революционного движения, была Гражданская конституция духовенства.

Вот и весь первый год раскола, с мая 1790 по май 1791 года. Второй год - это всего лишь интенсификация процесса, очевидная в первый.

Он начинается с бегства короля в июне 1791 года, то есть с первого открытого акта вражды против власти Национального парламента с тех пор, как за два года до этого Национальный парламент провозгласил себя верховным. Уже тогда Двор в целом отождествлялся с сопротивлением духовенства, и конкретный пример этого появился в заключении о том, что попытка короля отправиться в Сент-Клауд в апреле была вызвана желанием причаститься из рук священника, не являющегося юрисконсультom.^[8] Таким образом, когда король бежал, хотя его бегство не имело никакого отношения к клерикальной ссоре, в умах людей оно ассоциировалось с клерикальной ссорой из-за его попытки покинуть Париж в апреле и из-за давней связи Двора с клерикальным сопротивлением. Вспышка антимонархических чувств, последовавшая за бегством, была в то же время вспышкой антиклерикальных чувств; но духовенство было повсюду, и на него везде можно было напасть. Пильницкая декларация, которую нация совершенно справедливо истолковала как начало вооруженного наступления Европы против французской демократии, была воспринята как угроза не только в пользу короля, но и в пользу мятежных священнослужителей.

И так далее. Тревожное приближение войны в течение той осени и зимы 1791-92 годов, своеобразная трансформация французского темперамента, которую неизменно вызывает война или ее приближение, — своего рода конструктивная экзальтация и созидательная страсть — начали обращать большую часть его энергии или ярости против самих православных священников.

Новый парламент, “Законодательный”, как его называли, не проработал и двух месяцев, когда 29 ноября 1791 года он принял указ о лишении священников, не являющихся юристами, стипендии. И здесь мы снова должны отметить любопытное несоответствие закона факту во всей этой клерикальной перебранке! Больше года государственные деньги выплачивались людям, которые, по закону, не должны были в течение всего этого года получать никакой зарплаты! Тем не менее, как и в случае с присягой, необходимы были специальные действия, и, более того, парламент добавил к этому запоздалому и логичному следствию закона заявление о том, что те, кто не принес присягу в течение восьми дней после своего указа, должны быть объявлены “подозрительными”.

Слово “подозреваемый” имеет большое значение. Парламент даже сейчас не мог действовать, по крайней мере, он не мог действовать без короля; и это слово “подозреваемый”, которое не влекло за собой никаких материальных последствий, могло означать угрозу вещей похуже обычного и законного наказания. Это было похоже на знак, который какая-то неавторизованная или законная сила ставит на двери тех, кого эта власть выбрала для резни в каком-то городе.

Три недели спустя Людовик наложил вето на указ об отказе в выплате стипендий лицам, не являющимся членами жюри, и 1791 год закончился тем, что все дело оставалось в напряжении, но раздражение переросло в безумие.

Первые три месяца 1792 года не претерпели никаких изменений. Духовенство, не являющееся юрисконсультom, все еще терпимо относилось исполнительной властью к своему незаконному положению и, что еще более удивительно, все еще получало государственные деньги и по большей части все еще пользовалось лекарствами; представление о том, что духовенство было главными или, по крайней мере, наиболее

очевидными врагами нового *режима*, теперь превратилось в устойчивое мнение, согласно которому попытка преследования религии, как называла это одна сторона, упорное и антинациональное восстание священников-фракционеров, как называла это другая сторона, быстро приближалось к настоящему преследованию и настоящему восстанию.

С апреля 1792 года началась война и все страсти, связанные с войной.

Известная враждебность короля к революции теперь превратилась в нечто гораздо худшее: его известная симпатия к вооруженному врагу. Отныне главной тактикой революционного корпуса было вынудить короля выступить открыто.

Теперь для тех, чьей целью было заставить Людовика XVI открыто заявить о враждебности против нации, его религия была очевидным инструментом. Ни в каком вопросе нельзя было сблизиться с королем так близко, как в вопросе о Церкви, где уже в декабре 1791 года он воспользовался своим правом вето.

Поэтому 27 мая 1792 года жирондисты Гуаде и Верньо выдвинули предложение о том, чтобы священник, отказавшийся принести присягу, был отправлен в ссылку по простому требованию любых двадцати налогоплательщиков в пределах собрания приходов, известного как "Кантон". Прошло почти ровно два года с тех пор, как Церковный комитет Учредительного или Национального собрания впервые представил Палате представителей доклад о Гражданском устройстве духовенства.

Не следует забывать, при каких внешних условиях был востребован этот акт насилия, первый настоящий акт преследования. Прошел уже месяц с тех пор, как 20 апреля война на бельгийской границе началась позорной паникой и убийством генерала Диллона; почти одновременно с этим крахом последовали соответствующая паника и бегство французских войск при их продвижении к Монсу. Вся Европа говорила о легком походе на Париж, который теперь можно было предпринять; и в целом этот указ против священников был лишь частью ожесточенной политики, которая усиливалась, чтобы встретить ужас вторжения.

За этим, конечно, последовал указ об увольнении королевской гвардии, а чуть более недели спустя - требование о создании лагеря добровольцев под стенами Парижа. Но это нас здесь не касается. Король наложил вето на указ, направленный против священников, не являющихся юристами, и в последующие два бурных месяца православное духовенство в сознании населения, и особенно населения Парижа, отождествлялось с делом восстановления старого *режима* и успехом вторгшихся иностранных армий.

С крахом 10 августа началось преследование: настоящее преследование, которое было для растущей горечи предыдущих двух лет тем же ударом, что и первые слова ссоры.

Декрет от 27 мая был введен в силу через одиннадцать дней после падения Тюильери. Правда, оно не было введено в силу с той грубостью, которой требовал парламент: священникам, не участвующим в суде, было дано две недели на то, чтобы покинуть королевство, и, если они не воспользуются отсрочкой, их должны были депортировать.

С этой даты и до окончания Террора, двадцать три месяца спустя, история отношений между Революцией и Церковью, хотя и дикая и ужасная, проста: это история простого преследования, достигшего высшей точки в крайней жестокости и предполагаемом искоренении христианства во Франции.

К тому времени православное духовенство повсеместно рассматривалось как типичные враги революционного движения; сами они к тому времени рассматривали революционное движение главным образом как попытку уничтожить католическую церковь.

В течение семи месяцев после падения монархии, начиная с 18 марта 1793 года, священники, будь то неюристы или раскольники, могли быть подвергнуты высылке по доносу любых шести граждан.

Немедленно последовала всеобщая атака на религию. Попытка закрытия всех церквей, конечно, потерпела неудачу, но все твердо верили, что такая привязанность, которая все еще сохранялась к католической церкви, была вызвана только невежеством провинциальных округов, которые ее демонстрировали, или своекорыстием тех, кто ее поощрял. Попытка простой “дехристианизации”, как это называлось, провалилась, но месяцы террора и жестокости, огромное количество мучеников (ибо их было ничуть не меньше) и невероятные страдания и унижения, которым подвергались священники, пытавшиеся остаться в стране, как бы выжглись в самой основе католической организации Франции и остались, несмотря на ту или иную политическую теорию и несмотря на национальные симпатии духовенства, единственной великой живой памятью, унаследованной от того времени.

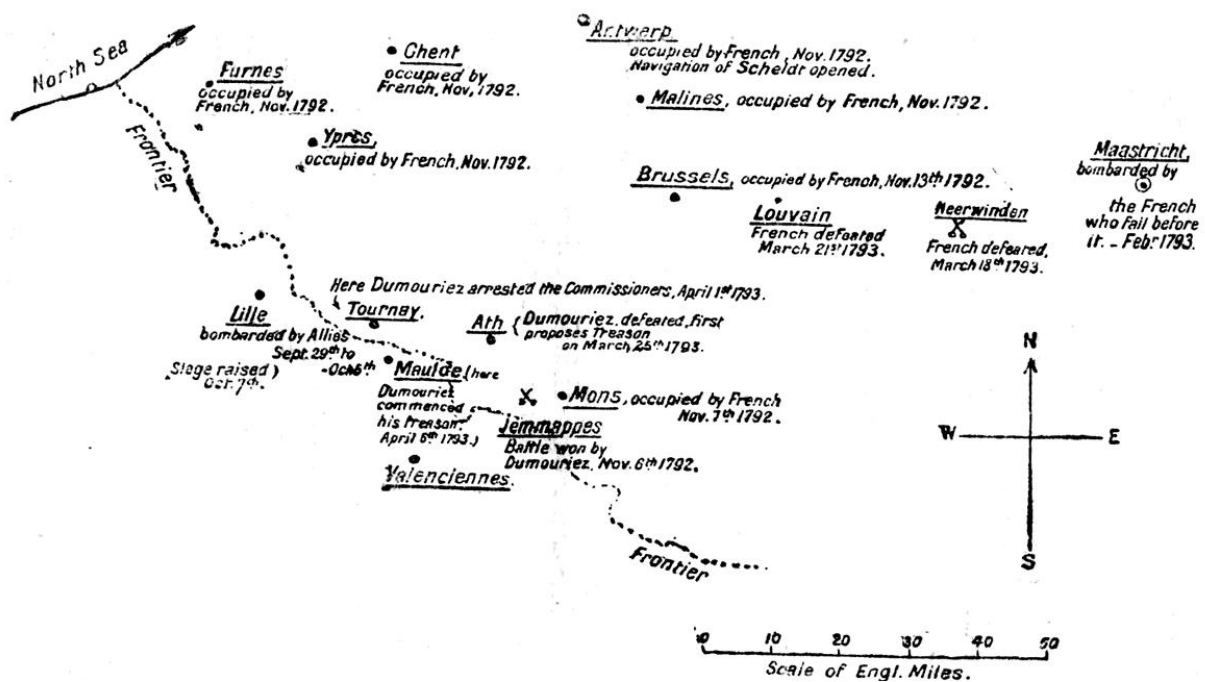
И наоборот, представление о священнике, его привычках и характере как о фатальном и необходимом противнике революционной теории настолько закрепилось в сознании республиканца, что два поколения ничего не сделали для ее устранения, и что даже в наше время пожилые люди, несмотря на чистую теорию, не могут избавиться от воображаемой связи между католической церковью и международным заговором против демократии. Это иррациональное, но вполне реальное чувство находит поддержку и в высказываниях тех, кто, выступая против политической теории Французской революции, постоянно ссылается на католическую церковь как на ее необходимого и святого антагониста.

Попытка “дехристианизировать” Францию провалилась, как я уже сказал, полностью. Общественное богослужение было восстановлено, и считалось, что Конкордат Наполеона навсегда урегулировал отношения между церковью и государством. Мы дожили до того, чтобы увидеть его исчезновение; но это поколение, как, возможно, и следующее за ним, не увидит исхода борьбы между двумя мировоззрениями, которые разделены не логическим путем, а глубоко разведены действием ярких и трагических исторических воспоминаний.

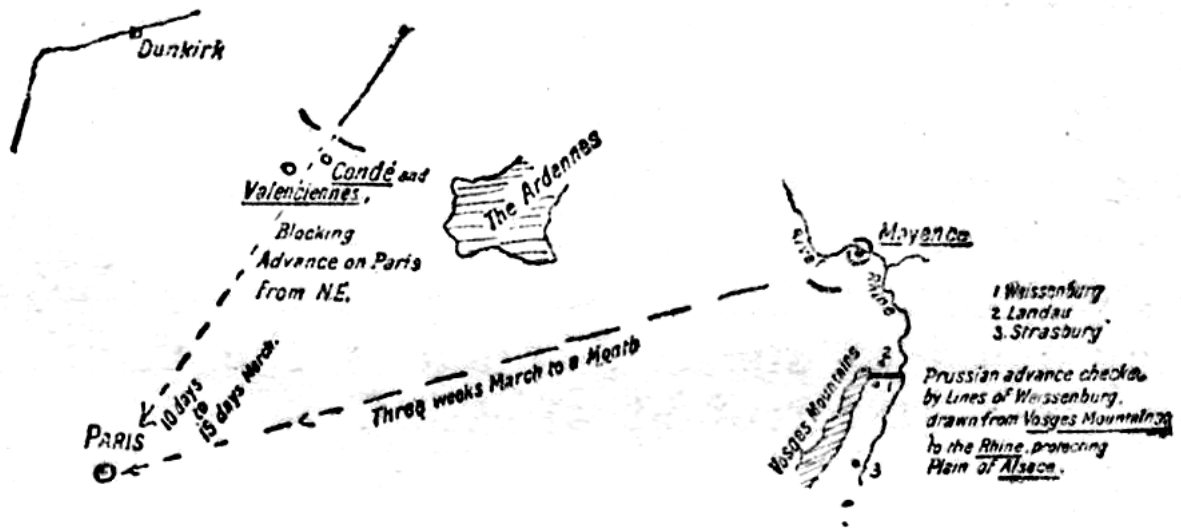
СНОСКИ:

[8] Это мнение вошло во многие протестантские и некатолические истории революции, что его стоит еще раз подвергнуть критике в этой небольшой книге. Король был совершенно свободен причащаться частным образом из рук православных священников, он действительно причащался и причащался вполне в канонические сроки. У попытки выехать из Парижа в Сен-Клу в понедельник, 18 апреля 1791 года, было мало церковных причин, за исключением *обычая* (а не религиозной обязанности) публичного общения в само Пасхальное воскресенье; это был политический шаг.

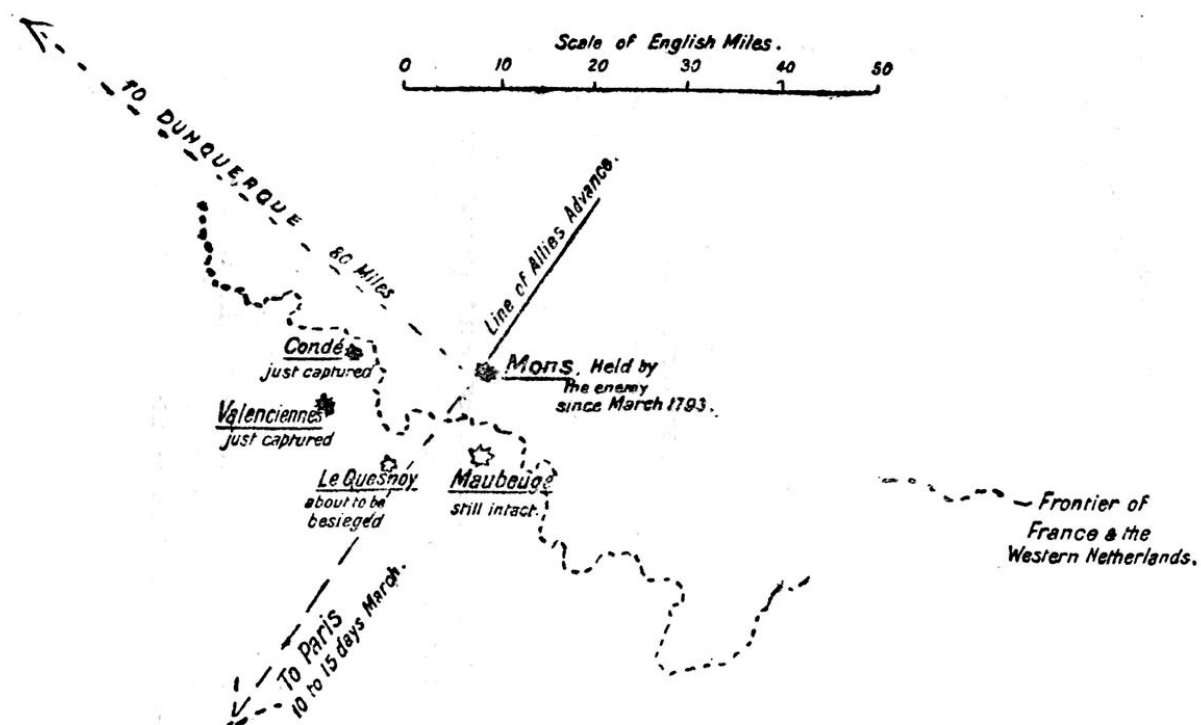
Richard Clay & Sons, Limited, Лондон и Бангей.



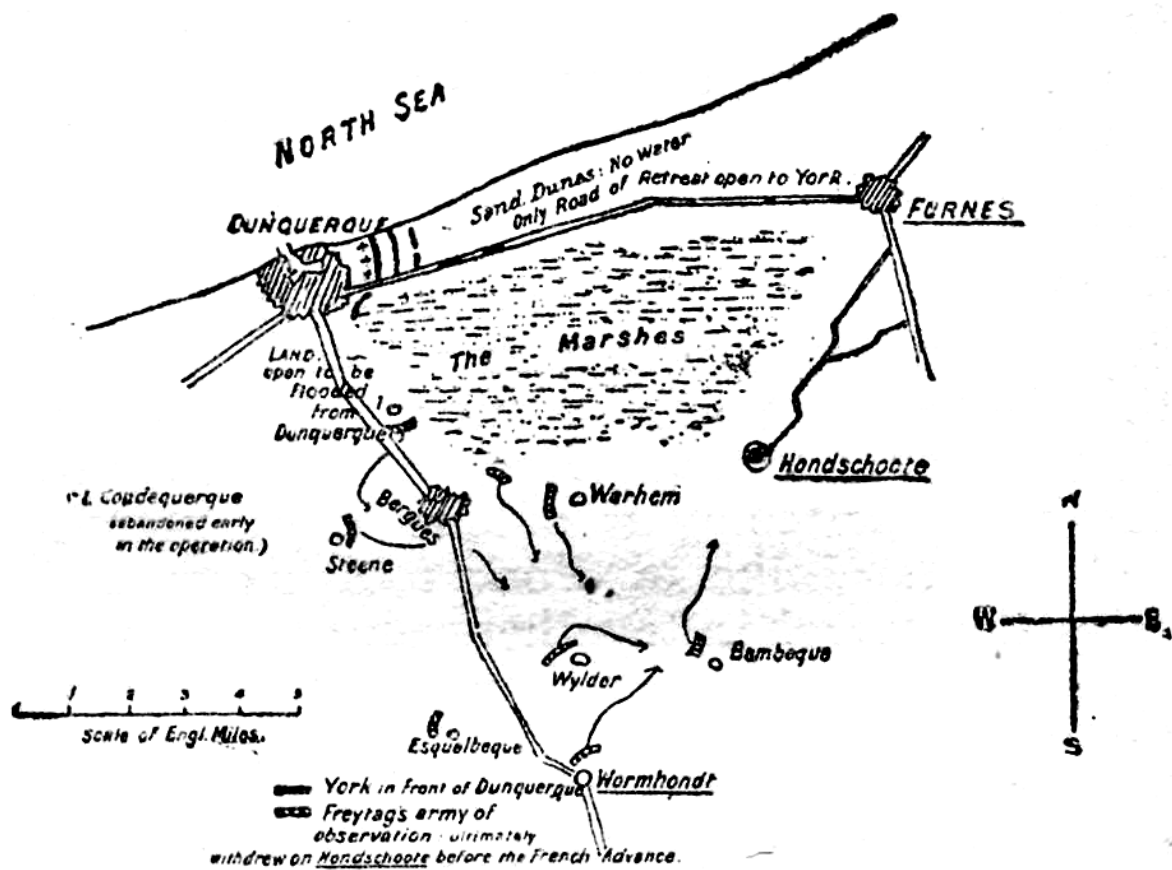
[Назад](#)



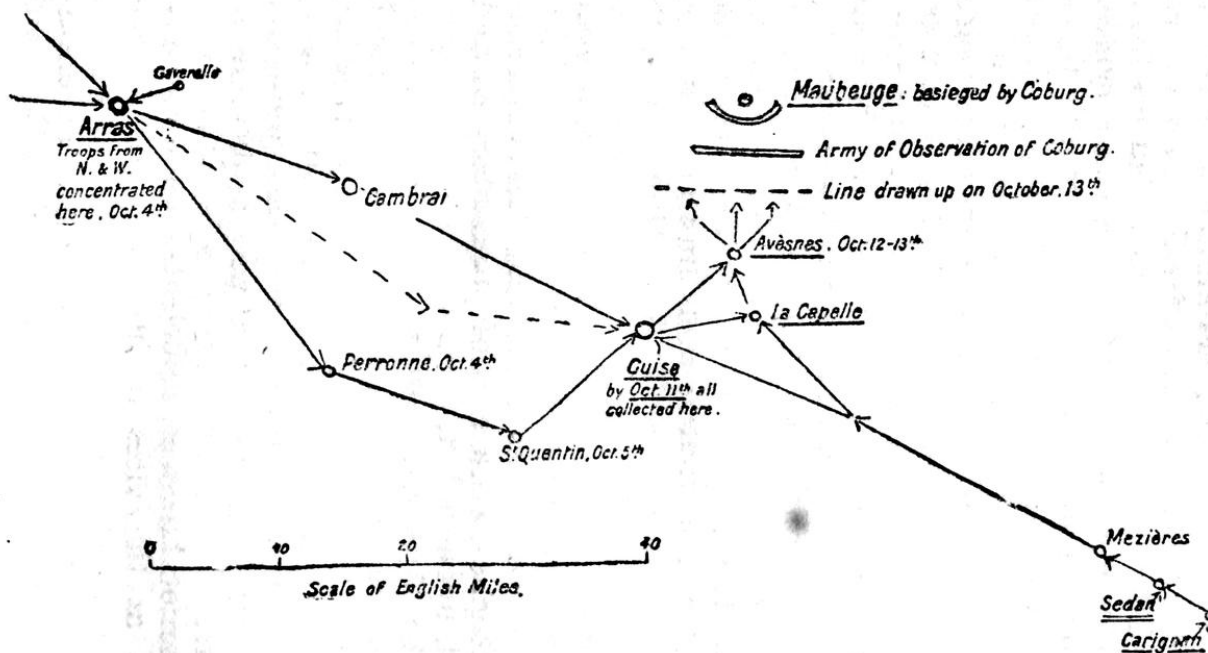
[Назад](#)



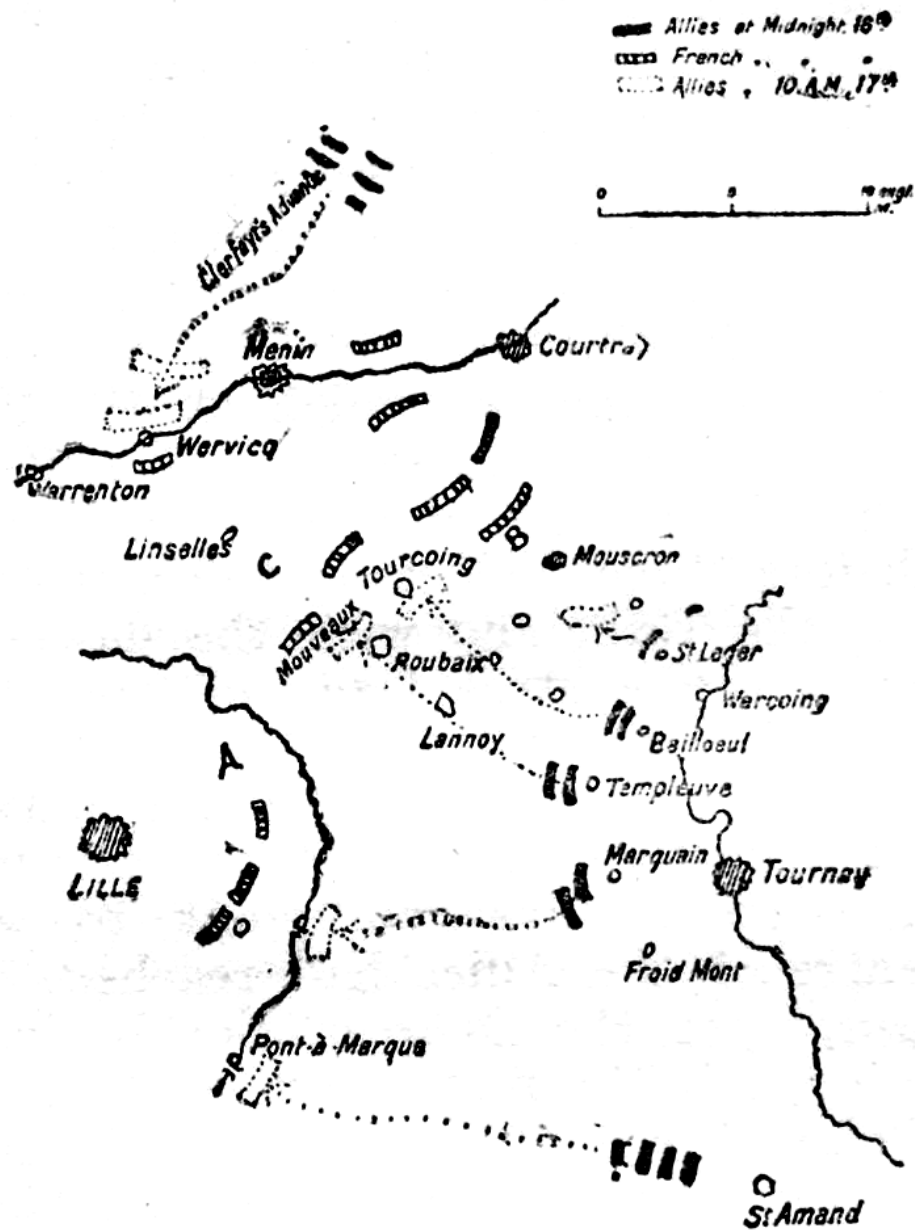
[Назад](#)



[Назад](#)



Назад



[Назад](#)

NORTH SEA

Dunkirk

Oudenarde

Ypres June 19th

Brussels

Tournay

Condé

Mons

Valenciennes

Fleurus June 25th

Charleroy

Landrecies

0 5 10 20 40
Scale of Engl. Miles

[Назад](#)